

— А ничего тут у вас, чисто, уютненько, моё почтение, любезнейший, здравствуйте. Мне одноместную палату предлагали, добротную, даже роскошную, однако хочется, знаете, человеческого общения. Доктор на весь день по делам уехал, никто нас не побеспокоит, я договорился. А вы, сказывают, после лекарств и завтрака уже и не едите даже, а любите молчком качаться на койке, до вечера, до баюшки баю, и при всём при том вежливы, приличного воспитания, что в наше нервное время, замечу совершенно искренне, дорогого стоит. Мне ведь только поговорить и ничего больше, не возражаете, надеюсь? Кстати, простите, если, вопрос бестактный: вот вы раскачиваетесь — вы слышите какой-то ритм в голове или музыку? Вы вообще любите музыку, просто кивните головой, да, нет? Не любите, понятно. Может, это и к лучшему. Пожалуй, определённно к лучшему, это многое упростит. Главное, чтобы вы слушали, или хотя бы слышали.

Я родился в семье музыканта. Музыкантами были мой отец, мой дядя, мой дед и многие славные предки. Говорят, был в нашем роду и обедневший дворянин, который, попав в нужду, не пустился во все тяжкие, как иные, не брезгуя сомнительными средствами, — случались ведь и дворяне-разбойники, — а предпочёл добывать хлеб насущный тем, что любил более всего на свете, музыкой. Такой была наша память, такой возвышенной была атмосфера в нашей семье, и музыка ждала меня ещё до рождения, я купался в ней, как, простите, в околоплодных водах. И это совсем не преувеличение, не метафора. Когда мать была тяжела мною, то веря, что по всем приметам родится непременно мальчик, причём, единственный в нашем роду, а значит единственная надежда музыкальной династии, — для моей беременной матушки, а прежде всего для меня, игрались самые красивые, самые изысканные мелодии. Все знали, что я их слышу, и уже прививали и развивали мой вкус. Рожала меня мать — стараниями отца, деда и дяди — тоже под музыку, под величавую, торжественную музыку, будто в мир явился новый мессия или наследный принц в королевской семье. Так воспринималось моё появление на свет и такое это было для всех событие.

Когда поутихли общие восторги и мои первые плачи, когда, напившись материнского молока, я уснул, а потом удивлённо проснулся, лёжа на столе, мне устроили первое испытание. Дед велел всем затихнуть, приблизил ко мне некую блестящую рогатинку, похожую на вилку, — это был камертон, — и тихонько стукнул по ней металлической палочкой, и все с волнением следили за моей реакцией. По более позднему описанию свидетелей, я не испугался, не заплакал, — если б подобное произошло, это был бы дурной знак! — а зачмокал губами, будто хотел есть. И всеми это было истолковано благосклонно: музыка станет моей пищей, духовной, разумеется, музыка будет меня кормить. А когда я ещё и заулыбался — это означало, ко всему прочему, она будет для меня занятием приятным и радостным. Так, едва родившись, я услышал первое чистое

«ля», и этот звук навсегда запал мне в сердце, вместе с одобрительными возгласами близких.

Потом — другое испытание. Я весело брыкался, сучил ножками, махал ручонками, а дед поднёс ко мне уже настоящую скрипку, и я не только не отпиннул её от себя, а, наоборот, с удовольствием дёрнул пальчиками за струны. Когда же я научился держать головку и бойко ползать, вокруг меня в торжественном молчании разложили разные предметы, и среди них — смычок и ноты. Разумеется, я выбрал музыкальное. Полагаю, во всех случаях там точно не обошлось без направляющей руки и ухищрений взрослых, но позднее на моих именинах о тех успешных младенческих испытаниях все наперебой рассказывали с таким воодушевлением, что я даже не сомневался: я рождён для высокой музыки. В этих полушуточных, полусерьёзных испытаниях, вероятно, всё-таки был смысл. Так бы и птицы, родив птенца, желали б убедиться, их ли он рода-племени, есть ли у него крылья и голос, чтобы летать и петь, чтобы быть птицей? И я, по всем признакам, оказался достоин своей породы.

Правда, птицам легче, учиться не надо, у птиц всё само собой получается, а мои занятия музыкой начинались с утра и заканчивались перед сном. Пустые забавы и развлечения отец пресекал на корню и в доме не было бесполезных или не обязательных для должного образования книг. «Если тебе нужны сказки, особенно про волшебную палочку, — говаривал отец в благодушном настроении, — то в музыкальном мире такая есть и называется смычком, хочешь, играй сам, хочешь, даже дирижируй оркестром. И для того, кто владеет мастерством в совершенстве, эта волшебная палочка вместе со звуками извлекает, — прямо из воздуха! — и блестящие звонкие монетки, много-много-много, сколько захочешь, и не менее, а, может, и более приятную славу, признание, все же любят, когда их хвалят, а натруженная слава — она и самая заслуженная, не подкопаешься. Вот настоящее чудо!»

Зато нот и книг о музыке в доме было предостаточно, и отец, положив руку на одну из них, сказал: «Это теоретические изыскания господина Леопольда Моцарта, который слишком мнит из себя. У него двое детей, маленького сына зовут Вольфганг, Вольфи, не слышал о таком?» Я осторожно пожал плечами. С улицы мне доводилось слышать много имён, мальчишки звали или обзывали ими друг дружку. А ещё я знал имя мальчика, который, помогая отцу-молочнику, заносил в нашу прихожую бидон с молоком, прикрытый белой выглаженной тряпицей с мелкими голубыми цветочками. Как послушный ребёнок я пытался угадать, что хочет от меня отец, но имя Вольфи Моцарт мне ровным счётом ничего не говорило. «Так вот, — проворчал отец, — этот мальчик младше тебя, — на полгода! — но уже даёт концерты. И не кому попало, а сиятельным особам, и по всему миру. Теперь ответь мне, — сказал отец, притягивая меня к себе цепкими руками, — разве наше семейство хуже этих Моцартов? Нет, нисколько! И ты, ты докажешь это всем!»

Так на мою беду вошла в наш дом фамилия Моцарт, изменив моё детство, как, впрочем, изменила она жизнь довольно многих мальчиков и родителей в семьях музыкантов, для которых Моцарты стали и образцом для подражания, и укоризненным, недостижимым примером. Мой отец отправился в погоню за Леопольдом Моцартом, и главным в этой погоне оказался я.

Теперь отец чаще обычного среди бела дня возвращался домой, ненадолго, — проверить мои подвижки, мои успехи. Смотрел, как я переписал, вернее, старательно копировал, ноты знаменитых композиторов, как, ещё не умея толком писать и считать, строю заданный аккорд, больше по наитию, представляя в воображении перед собой клавиши, куда бы я поставил пальцы. И конечно, исполнительское мастерство, — это святое, прежде всего. Отец давал мне задания на день, и если я не успевал, он не говорил много, но задавал один вопрос: «Почему?» Я начинал мямлить, отец брал свободный смычок показывал им на инстру-

мент, и стоило мне допустить оплошность, ударял меня смычком, его тугим пучком конского волоса, по пальцам, — несильно, терпимо, однако больше всего меня истязало, мучило огорчение, недовольство мною отца. А отцу казалось, что я недостаточно усерден. «Нет, не то, — мотал он головой, — не жалей ты пальчики, не жалей, запомни: музыка — это всегда вверх, но только не языком, как всякие там балаболы, а как раз на собственных пальцах. Да, порой кажется, уже дотронулся аж облаков и вот она, вершина, — а это всего лишь ступенька, сын, одна из многих, и лишь когда поднимаешься выше всех — только тогда и передохнёшь, и то недолго. Давай с первого такта, с настроением!»

И под нависшим в воздухе смычком, — уже много позже я услышал фразу «дамоклов меч», — я мысленно молился больше не ошибиться и, думаю, эта принуждённая готовность настроиться под угрозой всё-таки правильно формировала мой характер. В жизни ведь полно всяких каверз и надо уметь не терять голову, а собраться в кулак.

Я до изнеможения музицировал на маленькой скрипке около окна, выходящего в аккуратный дворик с побелённой кирпичной стеной напротив и подстриженными кустиками, поскольку здесь было светлее. Случалось, мимо окна пролетали, кружась, суматошные голуби, и детским своим умишком, детской фантазией я устремлялся за ними в полёт. Однако отец, заметив, что я отвлекаюсь, зашторивал окно. Ничто не должно было уводить меня с истинного пути, от смысла и цели моей жизни.

Как-то раз, идя со старательной степенностью по улице вместе с семьёй, я увидел чумазых мальчишек: забыв обо всём на свете, они гоняли палками дырявый башмак. О, как я им завидовал, с каким упованием я вместе с ними толкал бы, подкручивал палкой этот башмак, будто хитрую и вёрткую крысу, и случись мне хоть ненадолго увлечься этим совершенно ненужным, совершенно бессмысленным и глупейшим времяпрепровождением — клянусь, я был бы самым счастливым мальчишкой, моё сердце просто выскочило бы из груди от восторга. Но отец молча развернул меня за плечо и мы продолжили свой чинное шествие.

И всё ж однажды мне несказанно повезло: я заболел. Представьте, вот просто так взял и совершенно без спросу заболел! Тело горело, кружилась голова, я едва стоял на ногах; пришёл большой бородатый доктор, внимательно осмотрел меня, выписал лекарства и назначил постельный режим, покой. Покой, замечательная долгая пауза для инструмента, отыгравшего своё до конца партитуры! Я только лежал в уютной постели, в окружении мамы и сестёр, которые подбивали мне подушку, кормили с ложки и развлекали меня, рассказывали сказки, а я капризничал для виду, смотрел всякие картинки и, лишь когда появлялся отец, мне в руки спешно совали книги по музыке или ноты. Всего несколько дней, но какие это были счастливые дни, самые незабываемые дни моего детства, и даже сейчас я вспоминаю о них с грустным удовольствием, расслабляясь и телом, и душой.

Но счастье не бывает бесконечным. Снова пришёл доктор, и как я ни притворялся, улыбнулся мне и поздравил с полным выздоровлением. Заскучавшего было отца это известие воодушевило: ещё бы, маленький наследник готов к музыке, к празднику! А в праздничные дни для меня, юного таланта, создавалась особенная атмосфера — моего будущего триумфа. На широкий сундук, с медными ручками по бокам и с плоской дубовой крышкой, стелили бархатное покрывало и я, позанимавшись вначале на клавесине и поразбирав ноты, забирался без обуви на это возвышение, со скрипкой.

Пурпурный бархат лежал у меня под ногами, будто торжественная сцена, на которую однажды я удостоюсь чести взойти, и сквозь чулки я ощущал, какой будет она нежной и мягкой, словно, как говорил отец,

мех поверженного красивого зверя, если я взойду на неё победителем. А победа придёт, было бы желание, и я старался, как могут стараться самые безропотные, самые прилежные дети. Отец, послушав с кресла, ненадолго вышел; в комнату, чтоб прибраться, скользнула горничная, стала протирать щёткой бархат на сундуке возле меня и, приблизясь к моим ногам, прошептала: «Терпи, маленький, терпи...» С возвращением отца женщина удалилась, а отец, задумчиво похлопывая смычком по ладони, всё больше хмурился. Он забрал у меня скрипку, передал блок-флейту, деревянную, с дырочками, и я с удовольствием взялся играть на ней, хоть какое-то разнообразие. «Почему?» — спросил отец, слегка стукнув меня по пальцам, я заиграл снова и сам услышал фальшь, при- свист в звуках.

И отец, хотя бы внешне всегда сдержанный, — он, например, подолгу застёгивал и оглаживал свой выходной костюм, чтоб не оказалось ни единой лишней складочки, — отец вдруг сорвался, потерял самообладание, ударил меня смычком по рукам, по пальцам, так резко, что флейта вылетела из рук, и снова, и снова, как в ярости хлещут стеклом упавшую лошадь, и воскликнул с искорёженным лицом: «Почему?» А я плакал всхлёб и повернул к нему ладони: на моих детских пальцах, на подушечках, уже изнеженных за время болезни, появились свежие пузыри мозолей, они-то и мешали правильно и с усилием зажимать клапаны, дырочки флейты. «Прости меня», — раскаянно зашептал отец, прижимаясь щекой к моему затылку и приговаривая: «Чёртовы Моцарты, эти чёртовы выскочки!»

Вот так это было: над моим детством довлели строгий отец и непонятные, далёкие, заоблачные и беспощадные Моцарты. Но отец желал мне добра, он же всё-таки любил, жалел меня, и вы сами угадаете, кого мне оставалось по-настоящему ненавидеть. А крохотный шрамчик меж пальцев от того отцовского смычка, — вот он. На память. О том, как достается истинное мастерство.

Однако этих моих страданий оказалось недостаточно, и однажды, глядя на меня с хитрецей, но ободряюще, отец спросил: «А признайся, хочешь сам сочинять?»

Не знаю, с чего он вдруг так решил, мне и на музицирование сил едва хватало, а тут ещё и сочинять. «Наверно», — кивнул я понурой головой. «Что значит наверно? — возмутился отец. — Ты должен хотеть сочинять и должен сочинять. У Моцарта, ещё раньше, и сонаты были, и разное. Какие-то ж свои мелодии у тебя крутятся в голове?»

Ох, если бы. Если что-то своё и звучало в моей голове, — что вряд ли, — то всё тут же вытеснялось мелодиями и музыкой, которые я учил накануне, да разве объяснишь отцу?

«Давай начинай, и смелее, — велел отец, — а там втянешься.» Я тоже приказывал себе и даже стучал себя кулачком по лбу: «Я должен, должен!» А что с того, что должен? Совсем же непонятно, как это — сочинять. Ну пересматривал разные ноты, каждую страничку, и толку? Моим единственным желанием было под каким угодно предлогом спастись от очередной одуряющей пытки — и, как знать, может, я бы даже как-то незаметно навредил своему здоровью, может, что-нибудь тайком проглотил, скажем, разных пуговиц из маминой шкатулки для шитья, заболел бы снова да как-нибудь надолго, в таком сильном я был отчаянии. Однако переубедил меня и совершенно случайно, нечаянно услышанный разговор. И вот вам ещё один пример воли и роли слепого случая, как он способен повлиять на нашу жизнь. К отцу зашли гости, сидели за столом, за кофе, и жаловались на какого-то композитора: всю душу вытряс, беглость ему подавай несусветную, а сам уже забыл, какой стороной скрипку держать, зато весь из себя! И это говорили друзья отца, такие же знающие и непререкаемые, как и он. И выходило, даже они не смели послушаться какого-то композитора, вот так да! И я сразу

захотел стать композитором, возьму и насочиняю всего, ух сколько, толще всяких сборников, в руках не унесёшь, даже если подбородком подерживать, столько насочиняю, пусть другие учат мою музыку с утра до ночи, и только пусть попробуют у меня ошибиться, вот я им! Так что теперь, когда отец приносит книги по теории композиции и контрапункту (это о движении многоголосия), — я штудировал их со всем тщанием. Надо пояснить: у музыки есть свои законы, они основательно изучены, записаны, целая наука о гармонии, и познав её, можно действительно сочинять музыку — для торжеств, для карнавалов, для всяких праздников и застолий, и музыка будет приятным фоном, никому не испортит ни настроение, ни аппетит, и на том слава Богу, но и это ещё надо уметь сочинить, и я корпел над моими композициями.

Отец слушал очередное моё сочинение — и мигом узнавал отголосок другой мелодии, сходство с которой я сам не заметил. Тогда я шёл на хитрость: брал фрагменты известной музыки, изменял тональность и пытался варьировать, дополняя кусочками других, тоже изменённых мелодий, — ну какой в этом грех, поэты ж вон в своих виршах пользуют одни и те же рифмы, «вновь — кровь — любовь» и тому подобное, а кто первый придумал — води вспомни? Но отец всё равно морщился. И мне, чтоб выгладеть оригинальным и умелым, маститым, а может, и запутать следы, ничего не оставалось, как сделать упор на сложность исполнения, вот это у меня точно получалось. И так, мало помалу, а этих моих сочинений накопилось с лихвой, они упирались листами в дверцу шкафа, её уже приходилось захлопывать с силой, и я не собирался останавливаться. Мне минул тринадцатый год, с моими творениями пора было что-то делать, и отец велел мне выбрать лучшее, потом из выбранного мною сам отсеял очень много, откладывая и откладывая в сторону ненужные листы, и всё равно с сомнением топорщил губы. Однако в конце концов, расхаживая по комнате и глядя в пол, сказал: «Может, я поотстал от жизни, а другим, особенно молодым, это всё-таки понравится? Попытка не пытка...» — и унёс мои сочинения.

И случился тот день, совершенно необыкновенный: не было ни праздников, ни дней рождения, и погода за окном так себе, ненастье смурое, — а всё в доме было радостно, цветы в вазах, на столе драгоценный, потому что наследный, сервиз с чуть отбитым носиком заварного чайника, всё по-особенному. И вот тогда в присутствии родных, — а они стояли полукругом с сияющими лицами, — отец торжественно, будто верительную грамоту, вручил, преподнёс мне мои, изданные в типографии ноты. Обложка была обыкновенная, с лёгким, едва уловимым серым оттенком, но наверху по-настоящему, по-взрослому, как на книгах, было напечатано, — даже нет, не так! — не напечатано, а начертано моё имя, и когда мои пальцы, ещё не веря себе, скользили по этой обложке, бумага была нежнее нежного шёлка. Я раскрыл ноты — и сразу бросились в глаза скрипичные знаки, не написанные от руки, не корявенькие, а с изящными изгибами и с красивым, изысканным утолщением в нужных местах; далее тянулись плавные лиги, то высоко, подобно далёким облачкам или холмам, то внизу, подобно ласковым волнам, а в промежутках между ними, словно блестящий чёрный бисер или чёрные жемчужинки, были рассыпаны ноты, и эти неутомимые чёрные муравьишки двигали мелодию вперёд, от такта к такту, стремительная кавалькада с копьями штилей под бойкими флажками хвостов несла миру музыку, мою музыку. Страницы чуть-чуть пахли обычной типографской краской, но этот был аромат — никакие розы не сравнятся, совершенно волшебный аромат.

Даже перед сном я не хотел расставаться с моими нотами, тайком целовал их на ночь, как божественный образ, — прости, Господи, если у тебя ещё осталось терпение прощать меня, — а потом, как одержимый, припадал, прижимался к чуть шероховатой обложке сухими страстны-

ми губами, — и эти мои первые долгие, настоящие, нежные, поистине чувственные поцелуи я подарил не девушке, я доверил их моим сочинениям. Хотелось положить ноты под подушку, чтобы и во сне каждое мгновение ощущать их рядом, и лишь боязнь помнить такую драгоценность удерживала меня. Они даже снились мне, ведь скоро, а может, и завтра, мир услышит моё имя, и как счастлив будет и отец, и вся моя семья. Вот такое это было великое событие, всё помню.

Ну а дальше ведь как? Твоё творение должно кого-то заинтересовать. Есть те, кто не может без очередной порции напечатанных слов, из газет ли, из книг, хотя б перед сном, при свечах, — это книгочеи. И есть те, кому подавай новую музыку, меломаны, вот прямо сейчас, поставить на клавесин или пианино ноты и начать наигрывать, вдруг мелодия сразу понравится? На таких я и уповал.

А потом уже дела торговые: кто-то покупает твой сборник, пробует музыку, хвалит другим, твои сборники расхватывают, а вдогонку, пока горячо, печатается тираж больше и дороже, так примерно, и твоё имя начинают запоминать вместе с твоей музыкой. Если повезёт. Каждые день отец ходил по магазинам, интересуясь, как раскупаются ноты; оказалось, куплено только по одному сборнику, а в двух магазинах сборники вообще сразу же вернули. В общем, отец опять потратился, выкупил обратно почти весь тираж и запихнул его в низ дальнего шкафа. Что тут скажешь... После такого я долго не хотел просыпаться по утрам и только настойчивая властность отца понуждала меня возвращаться к музыке, к исполнительству. Вот тогда я уже как заведённый вгрызался в мастерство, в сочинения других, и ещё несколько лет каторжных занятий дали ожидаемые результаты: отец забыл о наказующем смычке, а просто слушал, изредка подсказывая. Музыку я тоже сочинял, и отец не возражал, но уже не требовал и тем более не комментировал, а только явно прислушивался, — я угадывал это по тому, как замирали за стеной его шаги или разговор. И эти заинтересованные замиранья отца я воспринимал как поощрение.

Приятели отца, музыканты, заглядывая к нам в дом, слышали мою игру, говорили, что с моим уровнем исполнения я далеко пойду и уже пора бы хлопотать о месте для меня хоть в самом королевском оперном оркестре. Впрочем, отец и без их подсказок давно об этом думал. Ещё они же завели речь, что их сыновья и я примерно одного возраста, и неплохо бы им и мне подружиться, — всё-таки и родители знакомы, и дети одного круга, хорошо бы. А у меня вообще не было приятелей, ни одного, никогда, я даже не знал, как это — просто общаться с чужими, хотелось хоть капельки свободы, и когда гости ушли, отец подумал, подумал и сказал: «Так и быть. Тебя эти оболтусы не подсидят, не сумеют, таланту не хватит, а немного знаний жизни не помешают. Можешь встречаться с ними, ну, скажем, по воскресеньям, часа полтора, не больше, музыка безделья не трепит.»

Для меня отцово позволение было воистину царской милостью, новые знакомые признавали моё полное превосходство в музыке и в надежде, что став однажды большой шишкой, я похлопочу и за них, рады были услужить мне в мелочах, а я замкнутый, зажатый, угловатый, хотел узнать от них всё, — кроме музыки. Товарищи отличались друг от дружки. Один, напуская на себя солидность, старался говорить о практических, бытовых вопросах, много умничал, он хотел бы устроиться при домашнем ансамбле богатого вельможи, а потом выгодно жениться, лучше всего на какой-нибудь дочери этого же вельможи. У второго — вообще семь пятниц на неделе: то он мечтал устроиться органистом где-нибудь в уединённом сельском храме среди вековых деревьев, то хотел стать поэтом и уже начал сочинять великую поэму, то удумал тайком податься в армию, там такие мундиры, гражданским вообще не снилось, и только музыка, сокрушался он, его держит. Но интереснее остальных показался мне третий, самый старший, насмешливый, несуетливый, у себя на уме;

он по-хозяйски щелкал пальцами в погребке, заказывая нам всем пива или вина, он играл в азартные игры со взрослыми, на деньги, и часто выигрывал, у него уже были запретные отношения с женщиной, старше его, — мы видели его с нею; он говорил о ней с ленивой ухмылкой, нам не терпелось подробностей, ну хоть каких-нибудь, и он, поглядывая с сомнением, достойны ли мы его циничных откровений, всё-таки небрежно, как крошки птичкам, их нам подбрасывал, и из всяких подобных разговоров я узнавал то, чего никогда бы не услышал в нашей пуританской семье.

Один раз, когда после посиделок с парнями в погребке я явился домой слегка навеселе, отец усадил меня за стол и предложил ещё немного выпить, уже за его здоровье, налил вина себе и мне, мы выпили, потом снова. У меня развязался язык, я пытаюсь шутить, ёрничаю и даже сделал отцу какое-то снисходительное замечание. Отец, словно поощряя мою взрослую смелость, не перебивал, слушал внимательно, потом сказал: «Видишь, ты ещё вроде бы держишься на ногах, а уже всё в родном доме опрокинул: и порядок, и отношения, и понятие об учтивости, и уважение к старшим, всё. Но я твой отец, я прощу тебя, кому как не отцу прощать своих детей. А вот другие, когда займёшь место, о котором я для тебя давно хлопочу, — они не простят, вылетит пробкой.»

Я был посрамлён, онемел, а отец, обычно немногословный, наливая теперь вина только себе, говорил неторопливо:

— Понимаю, дело молодое, всё понимаю, сам был молодой, но запомни на будущее. Мир музыки, да, наверно, и искусства вообще, только снаружи весь такой сияющий, возвышенный, но вот внутри-то грехов — выше некуда, и гордыня, и зависть, и спесь, и все кому ни лень укусят исподтишка, а уж про интриги и не говорю, это как пить дать.

Выжить там — тоже искусство, и голову не теряй. Как только в застолье среди важных особ или коллег вдруг надумаешь блеснуть, сострить, произвести впечатление игривым тостом, — сразу же стисни губы, будто сжимаешь обоюдоострое лезвие, сразу, и держи язычок на привязи, чтоб не порезаться, ты понял, сын? Поверь мне, лучше прослыть скучным молчуном, чем хоть единожды — пьяным, отвязным дураком, я это повидал. Ну а если уж нестерпимо вожжи отпустить, у тебя есть уже испытанные дружки, и мне будет спокойнее.

Возможно, эту нравоучительную речь отец заготовил давно и только ждал повода, но, знаете, иной совет родителя лучше благословения, и этот отцовский совет был таким же, потом он мне ох сколько раз пригодился, а может, и спас.

И наступило то, к чему всё шло, — пробил решающий час моей юной жизни: в сопровождении отца я явился на прослушивание к мэтрам оперного оркестра. Тогда, — под впечатлением, наверно, от разных затайливых механизмов, — взамен термина «мастерство» уже входило в моду словечко «техника», и маститые музыканты, сдержанно улыбаясь одними глазами, вынесли свой вердикт: «Техника претендента соответствует высоким требованиям Венской королевской оперы». Свершилось! Я был принят придворным музыкантом в Венскую королевскую оперу, в театр, который называли ещё Придворным оперным театром, Императорским театром и — с более родственным, сердечным чувством, — великой Венской оперой.

Я придворный музыкант великого театра, а Венская опера — это надо увидеть: громада, храм, собор, святилище, пантеон, балконы в бархате, в серебре с золотом, под куполом — солнца из хрусталя, люстры, невообразимые, гигантские, миллионы огненных граней, и не просто жмуришься, а задыхаешься от света, понимаешь, как тебе повезло, как уже всё чудесно складывается и ещё прекрасней будет потом. На улице — продолжение праздника: и знакомые, и незнакомые издали приподнимают шляпу, и девушки охотно улыбаются, и родители непротив, — и всё потому, что ты музыкант великой Венской оперы.

Все уже думают: ты живёшь, как в раю, я и сам хотел бы так думать, но отец, как всегда, отрезвил: не обольщайся, музыкант — человек зависимый, и от покровителей, и от коллег, и от того, как держишь себя, и во всём надо соответствовать. А поскольку отныне я считался взрослым, то и думать должен был уже по-взрослому. Взять, скажем, инструмент. Музыканты расскажут не одну историю, как какой-нибудь почтенный, седовласый музыкант, не знавший горя, вдруг наложил на себя руки в чулане, а всё потому, что инструмент его украли или случайно сломали. И всё объяснимо: инструмент — самый близкий твой друг и товарищ, твой кормилец и твоё лицо, по нему судят, как ты чтишь свою профессию.

Поэтому прежде всего, конечно, своя скрипка, не всё ж на отцовской отыгрываться. А по делу, так и две. Одна пусть мануфактурная, но достойная, добротная, попримичнее, на всякий случай, а вот другая, главная, обязательно мастеровая, от знатного мастера, старинная или новая, её передашь наследникам, чтоб гордились и держали заданную тобой высоту. Заказ на такую — в очередь и с задатком больше половины, зато уж создана будет в единственном экземпляре, специально по тебе, как, и обесцудьте за сравнение, библейская Ева была сотворена для Адама, и форма совершенная, а прикоснёшься к поверхности, к лакированной, — так словно кожа самой желанной женщины, волнительно даже, честное слово. Впрочем, это лирика, а если без лирики — цена огромная, дороже всей мебели в доме, и экономить ради такой скрипки будешь на всём, и у родных ещё займёшь, и у знакомых, а может, и к кредитору постучишься, к ростовщику, с нижайшим почтением.

Или вот хотя бы костюм. Даже не думай выступать и выйти к знати на поклон в дешёвом платье или в потёртых башмаках — будут нарочно на тебя, как на букашку, пялиться, такого оскорбления не потерпят и выежишь в два счёта, и замену тебе мигом найдут, в очереди десятки всяких интриганов, только и ждут. Дорогой экипаж — тоже изволь, хоть иногда, а надо, ты музыкант придворной оперы, статус держи, повсюду, — и дома тоже. Гости серьёзные наведуются — за порог же не выставишь, значит, и кофий им на стол, без суррогата, и вино получше, хоть у самих по будням пост чуть не каждый божий день, лишь бы желудок наполнить, чтоб не урчал да от дела не отвлекал.

А вещи в доме? Тоже разговор особый. Часы у нас украшала бронзовая дева в тунике, Муза, играющая на лире; канделябры в гостиной были отлиты из бронзы в виде виноградной лозы, с гроздьями ягод и резными листочками. А мне больше всего нравилась пепельница отца. Куря один, он вполне обходился жестяной тарелкой, о которую выбивал трубку, но для гостей выставял пепельницу настоящую, мраморную. На ней возле округлого углубления смиренно лежала, вытянув передние лапы и положив на них грустную морду, бронзовая собака, наверно, охотничья. Сама по себе — произведение искусства, с мельчайшими деталями, с застёжкой, с дырочками на ошейнике, с завитками на ушах и хвосте, словно живая, и если никто не видел, я поглаживал её пальцем, думая, что ей это приятно, и светлая полоса от моих пальцев так и осталась на бронзовой собачке.

Изящные вещи, изысканные, — и дорогие, весьма дорогие; однако приобретались не для демонстрации богатства, которого никогда не было, а затем, — и пусть это понимает любой, — что наш дом живёт, дышит искусством, и дети тоже воспитаны красотой, и все мы, поклоняясь возвышенному, прекрасному, ценим красоту и в работе других творцов, художников. О, вспомнил художников, а ведь ещё и портреты — и детей, когда появятся и чуть подрастут, и супруги, и себя, и картины на стенах, — без денег не закажешь и заплатишь, сколько скажут, хорошие мастера хорошо себя уважают, обдерут, как липку. А модные наряды для жены — разве она хуже других?

Да чего там говорить, пучок конских волос на смычке (а тут предпочтительней монгольский конский волос), — два раза в год меняй, самое

малое; скрипичные струны — каждые три месяца. Вроде рутина, уход за инструментом, а это всё не бесплатно, ох как не бесплатно! И добавьте сюда всякие музыкальные вещицы, ноты, методики, бюстики, и прочее разное, и ещё уже начиная потихоньку копить деньги на собственный дом, — пальцев не хватит загнать, хоть разуйся, а надо соответствовать! — и всё деньги, деньги, деньги, только успевай кошелём трясти.

Такая вот она, блестящая, распрекрасная жизнь музыканта из придворной оперы, и в этой славной жизни графа расходов переходит со страницы на страницу, чернил не хватит, а доход-приход — в строчку уместится, в коротенькую.

И что остаётся? А то, что и всем, — приработок, уроки, а куда деваться? В свободное время, по четыре, а то и по шесть занятий за неделю, для барчуков в состоятельных домах. Так он, барчонок, иной раз от инструмента без спросу по нескольку раз на кухню выскочит, потом жирными пальцами по струнам возит или по клавишам шагает, придуривает, ещё и пальцы облизывает, даже гувернантки ругают. Вот, думаешь, поучить бы тебя, шкодливого, как мой отец учил, смычком по пальцам, да я и сам носом бы провёз маленького паршивца по клавишам, а улыбаешься и говоришь-то другое: «Живой ребёнок, для музыки хорошо!» Горький это хлеб репетиторский, даже если с маслом, в оркестре и то меньше нервов истреплешь.

Но, кстати, через репетиторство я и с вашим доктором познакомился. Правда, тогда он ещё вот такой был, не больше, весьма забавный, но упрямый мальчуган: едва я появлялся на пороге их дома, — он прятался в шкафу, под кроватью, под обеденным столом, где только можно, а когда его оттуда вытаскивали, закатывал истерику, вырывался, будто я не дядя репетитор, а страшный злодей с нотами и ужасной скрипкой. Удивительное отторжение музыки прямо с детства, хотя слух у мальчугана вроде был. Впрочем, потом, уже повзрослев и став опытным врачом, достойным помощником и сменой своего отца, этот мальчик, видимо, ничего не забыл, проявлял особенную заботу при лечении именно профессиональных музыкантов, считая их великомучениками, и по большому счёту он был абсолютно прав, так ведь и есть... Вместо ребёнка, раз уж я приходил, уроки на клавишине брала маман мальчика, полнеющая дамочка, скажу прямо, довольно настырная, по нескольку раз за клавишином вроде бы невзначай касалась крабьими своими пальчиками моей руки, но я на её шалости никак не откликался, удержался.

Соблазны чувственных страстей уже грезилась мне, даже снились, однако, как говорится, даже дикие звери не гадят у водопоя, и доступной интрижке я предпочёл неплохой приработок и расположение её мужа, толкового, знающего доктора.

С некоторого времени он руководил врачебной практикой в печальном заведении, — в убогом, с протекающей, как сито, крышей и похожем на крепостные развалины приюте для болезных душою. Вряд ли работа в подобном месте настраивает на радостный лад, но доктор был человек доброжелательный, здравомыслящий и дельный. Надо отдать ему должное: мог бы промотать деньги жены и тестя на помпезную чепуху, на дорогие выезды, званые обеды для напыщенных гостей, с музыкой, с платным ансамблем, — тогда это было признаком светского тона, принадлежности к кругу избранных, модно, — однако сдержался сам и удержал от легкомысленных трат вертихвостку жёну, обзавелся аптекой, где сам готовил лекарства, занялся расширением и благоустройством больницы, стараясь превратить её в нечто более полезное и разумное, чем пресловутый лондонский Беддам, к тому же построил отдельное аккуратное зданье, вроде маленькой гостиницы, — пансионат для пациентов тихих, но платёжеспособных: больнице требовались дополнительные финансы, да и самому доктору надо было содержать семью. Молодец, ничего не скажешь.

Чтоб неуёмная жёнушка доктора не затаила на меня обиду, как бывает у отвергнутых женщин, я, зная её амбиции, нашёл для неё подходящую компенсацию: доставал ей по случаю контрамарки на генеральные репетиции в опере, — а там тебе и артистическая богема, и сиятельные особы захаживали, — и дама была на седьмом небе от счастья и гордости. И ничто в дальнейшем не мешало нашим деловым отношениям с доктором: его аптекой пользовалась наша семья.

А после трудов праведных я изредка и лишь слегка позволял себе расслабиться в компании с приятелями, и именно они, как сороки на хвосте, принесли новость о крайне важном назначении в нашем театре, на должность королевского композитора и капельмейстера, что все документы уже подписаны, однако озвучено назначение будет на днях. Якобы, по надёжным слухам, долго болевший капельмейстер Флориан Гассман перед смертью порекомендовал на своё место некоего Антонио Сальери, который, как оказалось, уже играл для его Императорского Величества, демонстрировал своё мастерство и сочинения, и весьма впечатлил присутствующих, но пока не успел привлечь к себе внимание остальных, — возможно, потому что внешне был небросок. Этот Сальери, — всем понятно даже по фамилии, — итальянец, и, говорят, разузнав о вполне возможном его назначении на столь высокую должность, папаша Леопольд Моцарт впал в бешенство, возмущался на всех углах, рвал и метал, распаяя горожан: позор, славная Вена опять соскучилась по владычеству Древнего Рима? А может, лучше турок позвать, у них ведь тоже музыка, с трубами, с барабанами, с зубастыми янычарами!

Однако все знали: его славный сын Вольфганг уже пробовался на этот пост, но былому вундеркинду после долгих раздумий дали от ворот поворот.

Для меня это известие было как праздник: меньше всего я хотел, чтобы передо мной в роли звездного распорядителя маячил укор и страх моего детства, Вольфи Моцарт.

А итальянец, не итальянец, — меня особо не волновало, мой дядя вообще считал, что исторически Италия — муравейник гениев. Дядя бывал в известных итальянских городах и о тамошних музыкальных нравах рассказывал с воодушевлением: в Венеции даже обыкновенные лодочники на гондолах поют хоть днём, хоть вечером при огнях, и поют весьма и весьма, дай бог и профессионалам так спеть, а если выступает певчий с помоста на рыночной площади — народ тут же подхватывает, и самого певца уже не слышать, а общий хор всё звучит, слаженно, замечательно. И сам несколько раз он наблюдал такую сцену: подходит итальянец к берегу, любуется красотами, закатом и неожиданно, расправив плечи, начинает петь, красиво, полной диафрагмой, причём трезвый и не смущаясь прохожих. Поют даже на улице, от избытка ли чувств или от грусти, прохожие оглядываются и улыбаются, и никто не покрутит пальцем у виска, наоборот, одобрительно поднимут большой палец.

Здорово ведь, правда? А мы? Если в пьяной компании, то и мы, венцы, не прочь попеть, и студенты, и пожилые, и ещё раскачиваться будем, если подшофе. Но представьте-ка, — продолжал дядя, — на улице Вены какой-нибудь приличный господин, поддавшись настроению, вдруг бы во всеуслышание запел? Даже и не пробуйте — точно задержат, сцапают, проверят документы, отведут в участок и если убедятся, что трезв, так ещё и в лечебницу упекут, пожалеешь, что настроению лирическому поддался. Нет, нет, — подводил черту дядя, — кто бы что ни говорил, а итальянцы это итальянцы! Их песни потому и мелодичны, что для них жизнь и музыка — всё вместе. И заметьте, только итальянцы могли ввести в характер исполнения такой музыкальный термин — *Lusingando*, люзингандо, — «прельщая, обольщая». А, каково?

— Да, это они умеют, — ворчал отец, слушая брата, — особенно кто на рынке торгует. Только увидит приятную даму, уже причмокивает, глазки закатывает: «O, bella donna, bella donna!», а не смотрит, не видит, что дама приличная и замужняя, и муж только у другого прилавка задержался.

Нет, я ничего не имел против итальянца. Правда, приятели сказали ещё, что этому итальянцу всего-навсего двадцать четыре года и что Гассман довольно долго и персонально занимался шлифовкой его музыкального таланта, — и я, уже привычный к сальностям в нашей, не самой добродетельной, компании, спросил с двусмысленной ехидной ухмылочкой: «А может, у них с Гассманом было нечто эдакое, а? Итальянцы ж во всём большие умельцы?», но приятели, хоть и уважали меня, сразу дружно и возмущённо отвергли мой намёк: Гассман до последних дней увлекался женщинами, причём красивыми, после семейной жизни у него остались дочери, а у Сальери, по слухам, есть невеста.

Если честно, то в этом Сальери, готовом принять высокий пост, мне нравилось уже то и, пожалуй, как раз именно то, что в отличие от Вольфганга Моцарта, он был не моложе, а старше меня, старше на целых четыре с лишним года, почти на пять лет, целая вечность, думал я тогда. А при моей скрытой то ли вере, то ли юношеской самонадеянности, я полагал, что через четыре-то с гаком года, приблизясь к нынешнему возрасту счастливчика Сальери, я тоже стану оного кем и совершу столько замечательного в музыке, в композиции, что все только ахнут, и может быть, как раз этот пришлый итальянец станет для меня и примером, и достойным раздражителем, во благо моей будущей славе.

Дома я рассказал старшим о слухах насчёт высокого назначения в Королевской опере, о некоем Сальери.

— Да, по всем вероятностям, заступит итальянец Сальери, — подтвердили недовольные отец и дед.

— И что ж, — осторожно сказал я, удивлённый их тоном, — он же всё-таки не просто распорядитель, а музыкант?

— Да, верно, музыкант, — сказали мне, хмурясь с сардонической усмешкой, — только не из музыкантов.

— А из кого? — не понял я.

— Его отец торговал колбасой, мясным фаршем, мукой и чем-то вроде. Сам угадаешь, из кого?

— Из торговцев? Но... музыка, как же, откуда? — вырвалось у меня, мне казалось, это розыгрыш, неуместная шутка. Однако меня вывели из оцепенения, просветили насчёт этого нового капельмейстера. Оказалось, его торговец отец, наверняка потомок бывших крестьян или ремесленников, отдал в обучение на скрипке своего старшего сына, переростка, — так, на всякий случай, наверно, чтоб произвести впечатление на выгодных покупателей, и такой примитивной музыки в доме хитрого торговца хватало бы за глаза. Но у старшего сына, который сам только ещё учился держать в руках скрипку, стал брать уроки, — вы только послушайте, как звучит: «брать уроки» у недоучки, у неуча! представляете? — так вот, у него стал брать уроки, а проще, обезьянничать, братец помладше, этот самый Антонио Сальери. И потом Антонио убегал из дома слушать мессы за несколько вёрст, осваивал игру у церковного органиста, причём, даже не у первого органиста, а только у второго, какого-нибудь полуслеплого пьянчужки, каких держат про запас, на всякий пожарный. Потом, после смерти отца, он, уже подростком жил и обучался у родственников в Венеции, где, будучи проездом, его будто бы особенный талант заметил маэстро Гассман, взял к себе на обучение, — и пожалуйста, перед смертью, как самому достойному, завещал ему свою должность!

Признаюсь, я потерял дар речи. Не на галдящем рынке, не в торговых рядах, а в священных стенах королевской оперы, в утончённо культур-

ной столице, в Вене, на высоком посту распорядителем муз окажется сын торговца?

Помните, какие испытания мне, потомку музыкантов, устроили мои же родные, едва я родился? А только вообразите, что предложили на выбор новорождённому младенцу Антонио, маленькому Тони: кусочек ливерной колбасы, ключ от амбара, штопанный кошель с зачуханной мелочью, с замызганными монетками клиентов, крестьян? Я ничего не забыл? Ах да, точно забыл, главное-то и забыл! Должен быть ещё и свиной хрящик, обязательно должен, как же будущему торговцу без хрящика, никак нельзя! Пусть на запах ползёт, на цепких своих маленьких торгашьих лапках, пусть всем чутьё своё докажет!

Вот что должен был выбрать достойный — если б он таковым оказался, — достойный сын своего отца торговца, и приучить себя к этой мысли на всю жизнь, вы согласны? Но по какому-то дикому недоразумению, увидев дешёвую скрипку в корявых руках старшего братца, этот Антонио выбрал то, чего не имел права даже касаться, — высокую музыку! Без сомнения, он только годам к пятнадцати освоил то, что Моцарт и я знали лет в шесть, а то и в пять. Да, мы слушаем народные мелодии, которые сочиняют некие самородки, порой звучат своеобразно, не спору, но они, эти авторы, — они анонимы, даже их имён никто не знает и не помнит, потому что самоучка — это всё равно недоучка, настоящие же музыканты — и есть точное, верное слово, — вы-шко-лен-ны! за ними школа. А с этим Сальери, — вы хоть понимаете весь абсурд ситуации? Простите за банальность, от мокрицы не может родиться бабочка или стрекоза, от курицы не родится певчий дрозд, рыбы учатся плавать в чистой воде, а не в лягушачьем болоте, этот ряд вам продолжит любой ребёнок. И на скачках побеждают не просто четвероногие, лишь бы какие, а породистые скакуны, всё лучшее — от породы, так устроено в природе. И почему в цивилизованном, в человеческом обществе должно быть иначе? Вы, может, слышали, — а мне рассказывали приятели оболтусы, — в Индии испокон веков существуют касты: жрецы, воины, разные профессии. И никому, ни-ко-му из касты, скажем, башмачников, будь он семи, да хоть тысячи семи пядей во лбу, не видать касты жрецов. Потому что способности, талант передаются с кровью. Так и мой талант, он в моей крови, он в этих, как их там, в корпускулах, понимаете! А его?

Естественно, я был и оскорблён, и заинтригован, не терпелось поскорее увидеть новоявленного капельмейстера ниоткуда, я даже не сомневался, что наружность сразу выдаст его низкую суть.

Думаю, этот Антонио Сальери всерьёз волновался, являясь в Венскую оперу. Первый выход хоть к публике, хоть к коллегам музыкантам, первое впечатление — это, считайте, визитная карточка, не только твоя личная, но и великой Венской оперы, которую отныне будешь представлять. И дорогое платье, и украшения не спасут, если дрогнешь, не сумеешь сразу подать себя. А мне было из кого сравнивать. Я уже вдоволь насмотрелся на разных маэстро, местных и гастрольных, прикидывая, какие бы их манеры подошли мне самому. У одного — барственное снисхождение к покорённой публике, у второго — кураж, у третьего во взоре огонь демонический, — эдакое воплощение устремлённости к неземному совершенству, в сравнении с которым всё остальное — так, суета, пыль под ногами. Ну и, конечно, лицо. Не зря ж у любого музыканта в футляре инструмента найдутся и пудреница с румянами, и гребёночки разные. Вот присмотритесь к лицам на улице, в зданиях. Иные, будь то женские или мужские, так изысканно утончённы, что и не сомневаешься: мысли и чувства за этими лицами столь же изысканны и утончённы. А иные лица — неказистые, неотёсанные, грубого помола, и не ошибёшься: примитивный человек перед тобой, без затей, без потребностей, так, из подворотни, из полуподвала.

И когда все напряжённо устали на парадные двери, откуда должен был явиться новый капельмейстер Антонио Сальери, я, помня о его предках торгашах, с внутренней усмешкой ожидал увидеть грубого мужлана, грубого лицом, с жесткой щетинной шевелюрой, — в общем, потомка приземистых крестьян или ремесленников, способного ворочать на весах окорока и кули с мукой. И я ошибся. Лёгкой походкой в зал вошёл одетый строго, но со вкусом, улыбочивый, с большими чёрными глазами человек, коренастый, невысокий, ниже всех присутствующих, а меня так почти и на голову; за глаза такого, наверно, будут звать Малыш Антонио.

Вошедший учтиво раскланивался налево и направо, и всё равно, пусть не по форме, но по сути, для меня он был и оставался сыном торговца с лицом плебей. В иной ситуации этими чёрными, как маслины, глазами, он бы, наверно, искательно улыбался, торгуя в продуктовой лавке, или уговаривал бы дамочек купить шляпку в галантерейном магазине: мол, та, что рядом, хоть и подороже, но вам подойдёт ещё больше! А его руки — смех, не руки! Вот посмотрите на мои пальцы, на любой руке, посмотрите, не стесняйтесь! Вот! Вот! Полторы октавы! Столько я охватываю ими, почти без напряжения. Потому что они тонкие и длинные, — музыкальные пальцы! Это порода, понимаете, без обмана, настоящая, от виртуозов нескольких поколений. Есть музыканты, которые пытались силой, физическими упражнениями расширить охват пальцев, как бы их длину — и травмировали пальцы бесповоротно. Но по крайней мере, они понимали свой природный изъян, а Сальери, похоже, его пальцы совершенно не волновали.

И что досталось в наследство этому Сальери? Я вам скажу: его пальцы, пропорциональные его туловищу, были да пошлого обыкновенны, и это ещё мягко сказано, но ведь в том-то и разница, что он претендовал на должность не мясника, не повара, не дворника или ну не знаю кого, а на пост фактически главы музыкантов во всей Королевской опере, да притом в двадцать четыре года отроду. Как подобное возможно?

Ждали, что же он скажет. И Сальери выдал неожиданное.

— Так вышло, господа, — сказал он с мягкой, как бы виноватой улыбкой, — скинул я однажды сандалии Меркурия, взял в руки арфу, но Аполлона из меня, как видите, не получилось. Увы, я всего лишь музыкант. Возьмёте к себе?

Конечно, Сальери догадывался, что о его происхождении все уже успели вдоволь посудачить, и его самоирония, вызвав смешки, разрядила напряжение, расположила к нему присутствующих. Наверно, все подумали: скорее всего, он просто умелый администратор, обходительный распорядитель и по крайней мере не станет испепелять подчинённых взглядом да смотреть, как удав на кроликов, и то неплохо.

— А не порадуете нас своими последними творениями, — спросил кто-то и выдал из себя название-звание, которое ну никак не соответствовало ни возрасту, ни облику этого молодого человека двадцати четырёх лет, и более того, для всех было ниже собственного достоинства назвать так несолидного, неброского человека, словно нечаянно, как в закуток на рынке, забредшего в храм искусства, — э-э, маэстро?

Сальери кивнул, осмотрелся на разные инструменты и в итоге сел за рояль, подвигая носки лёгких тёмно-вишнёвых туфель к громоздким педалям.

«Вот сейчас, — подумал я, — мы и услышим, как играл бы взрослый поросёнок раздвоенными копытцами на фортепиано, если бы знал, когда и какие пластиночки чёрного ящика надо нажимать.» Сальери, глядя перед собой, но не на ноты, поскольку их не было, а просто в короткое пространство между ним и инструментом, опустил руки низко над клавиатурой и на несколько мгновений замер. Поклянись чем угодно, я видел, я стоял позади, — его руки всё-таки, хоть и чуть-чуть, но дрожали. Он коснулся клавиш, пробежался по ним, разминаясь, и я должен

признать: школа за ним была. А впрочем, я с удовлетворением заметил и другое: стремительная токката в его исполнении не идеально равномерна по интервалам. Правда, на неравномерность эту, ничтожно малую и едва уловимую, обратил бы внимание далеко не любой музыкант, а только исполнитель высокого, моего уровня, остальные этой тонкости не заметили вообще. Обозначив несколькими аккордами тему, Сальери взялся играть и, разворачивая композицию и так и эдак, заиграл в полную силу.

Я не знаю, как сравнивать музыку, говорю как на духу, не-зна-ю! Музыкальные критики уподобляют её природным явлениям, сравнивают с ветерками, бурями, молниями, зорями, лунами, с чем там ещё? С бликами солнца на воде, с цветами, с улыбками и взглядами юных дев, с игристым вином и прочим, и прочим. Это, может, и поэтично, но это ни о чём. Ну вот как опишешь вкус яблока или клубники? Как сравнить меж собой три сорта винограда? Поэты не смогут, могут объяснить только виноградари на понятном им языке.

Но раз уж так принято, и лично вы не музыкант, не стану отказываться от традиции и скажу: музыка Сальери, пожалуй, напоминала скалы, вырастающие на крестьянских пашнях, на склонах этих скал раскрывались диковинные цветы, а с вершин срывались то тяжёлые камни, то вдруг легкокрылые певучие птицы. Мгновениями же казалось, Сальери и не играет вовсе: из рояля, словно из кремниевой глыбы, он высекал даже не звуки, а горящие искры, у всех мурашки по спине, и когда, кончив играть, он посмотрел на всех по-прежнему безмятежно, наступила долгая, изумлённая пауза, а потом все, подняв руки, дружно заплодировали, и это не была вежливость или тем более подобострастие, это было, — не знаю, как назвать, — все были ошеломлены. Никто ничего подобного не ожидал: да, слышали, но считали преувеличением, и вдруг такое... Я не мог поверить ушам и глазам, что его заурядные руки способны выдавать такое. За мягкими повадками, за улыбчивой маской Антонио Сальери таились Везувий и управляющая им воля. Сей маленький приветливый господин вызывал у меня тревожное двоякое чувство: пренебрежение, презрение к его происхождению и давящее, подавляющее, испуганное удивление.

Для пополнения музыкальной библиотеки при театре из багажа Сальери были переданы сочинения известных композиторов, книги по теории и тугая стопка, обёрнутая в парафиновую бумагу, которую мы с любопытством распаковали. Там оказались отпечатанные нотные сборники, с автографами и благодарственными записями от именитых оркестров и театров мира, — а значит уже исполненные с триумфом, — и скрипичные, и фортепианные, и органные оркестры, и для гобоя с виолончелью, и оперные увертюры, и оперы! Музыка Антонио Сальери! Поверить невозможно, я был потрясён.

А новый капельмейстер — это вам не просто новый дирижёр, дирижёров в опере, и первых, и непервых, хватает, да и любой приличный музыкант знаком с азами дирижёрского ремесла: поставь его за пульт — тоже сумеет покомандовать коллегами. Капельмейстер — другое, он Венской опере настрой задаёт, его назначение, а значит и существование, — событие, вежа, и не зря в Венском оперном театре весь день царил переполох, суетились все, от начальства до поваров: вечером прибыл-таки сам Император со свитой, и Антонио Сальери не сразу, а после надлежащей, долгой и томительной паузы, был приглашён в зал торжеств, для поздравления от Его Величества, заодно позвали и звёзд оперы. Рядовым музыкантам и артистам тоже перепало от торжеств: в отдельном помещении щедрой рукой меценатов нам накрыли длинный стол, не тощими бутербродиками, а роскошный, от поставщиков Двора Его Величества, а они уж подать умеют, красиво подать. Представьте: под сладострастные стоны и вздохи со всех сторон, дыша ароматом,

парит над столом жареный, с золотистой корочкой и вишенками вместо глаз, молочный поросёнок, и вдруг — хрюканье, натуральное, животное, как из свинарника, и хрюкает-то беззастенчиво, самозабвенно не кто-то там, а знаменитый оперный бас, гроза на сцене, его имя на всех афишах, а тут ему невтерпёж, сам как кабанчик нахрапистый, жаль, театралы не видят своего кумира в таком амплуа. Ну а если же присутствующие нежно кудахтали и крикали, нетрудно догадаться: на стол приземлялась украшенная яркими овощами жареная птица, индюшка или утка.

Что касается меня, то одно лишь топтание артистов кучками около праздничного стола давало первую пищу — не жадному желудку, но моему любопытному уму, уже сразу было видно, кто с кем хотел бы сидеть, а от кого нос воротит и вежлив сквозь зубы, — и я запоминал симпатии и антипатии, на будущее. Администратор же, нарушив планы многих, рассадил всех по своему принципу, чтобы дамы, — а их было меньше, — украшали стол равномерно, и вот теперь всё было готово, ждали только отмашки.

И, наконец, пробки вон, горла бутылки — в бокалы, вино фонтаном, шипенье, звон, гадёж и ликованье, понеслось! Мужчины склонялись к дамам чокнуться, а заодно и к их декольте, дамы с весёлым вызовом смеялись нахалам, уже пробуждалась алчущая плоть, но вначале, наваливаясь животами на край стола, все принялись за еду, открывая быстро рты и шевеля губами, и со стороны могло показаться, что люди читают молитву или энергично спорят с сидящими напротив, если бы не сосредоточенное молчание, с которым все спешили снять «пенки», поглощали кулинарные изыски, словно хотели наесться на дармовщинку впрок, до судного дня; молчание нарушалось только звяканьем вилок и ложек, однако после салфеток руки опять тянулись к изысканному вину из королевских погребов, которое никогда не позволишь себе купить, настолько оно дорогое, и тогда опять тосты, кличи, выкрики, подначки, и от блеска женских плеч, женских глаз, от самого духа фривольности и первых глотков вина мне тоже, как и всем, хотелось в этот вечер безумств, — я ведь был молод, вполне недурён собой, — и дамы откровенно кокетничали и заигрывали со мной. Однако я помнил совет отца, про острое лезвие во рту, кто молчит — тот слышит, и подобно философу с уединённой башни, какие изображают на картинах старые мастера, с вершины своего тайного превосходства я слушал, наблюдал за остальными, взирал на копошащихся за столом коллег постарше. При ясном уме, скажу я вам, это лучше любого спектакля, да ещё и место в первом ряду! И заметишь, как солидный господин, одной рукой вдохновенно поднимая бокал, другой — ловко смахивает со стола горсть конфет себе на колени, на расправленный платок или в заранее приготовленный для дома кулёк, и не он один такой ловкач подметать со стола. А ещё занятнее другая сценка: по-девичьи румяный тенор, эдакий птицеголосый херувим, которого за глаза называли эверати, причём добровольным, вдруг шебуршится под скатертью, явно пристаёт к соседке, дородной замужней даме, и та, зардевшись, взирает на него с заинтересованным, удивлённым любопытством, ох, что вино-то делает! Однако меня за столом не отпускали другие мысли, поважнее: что происходит там, в пышной комнате торжеств? Музыки оттуда слышно не было, так неужто Антонио Сальери, удостоенный высочайшей чести, способен кроме музицирования ещё и довольно долго поддерживать беседу, высказываясь на разные темы, и не с кем-то, а с самим Его Величеством, с властелином огромного государства, славной империи? Потомок торговца Сальери и великий Император, почти бог? Не укладывалось в голове! Я бы, наверно, дар речи потерял. И вместе с тем я ещё более осознавал и получал доказательство, как высоко может вознести музыка, если ты в ней преуспел.

Сообщение администратора, что Его Величество со свитой только что благополучно удалились, распахнуло ворота всеобщему веселью. Уже по-

участвовав в театральных застольях, я знал дальнейший сценарий, знал и клоунские репризы, и пикантные мизансцены, компания ведь собралась слаженная: несколько музыкантов налили в бокалы вина на разную высоту, с удовольствием отпивая лишнее, — у каждого получилась своя нота, — и, то касаясь бокалов ладонью, то позвякивая столовым ножом, извлекали из них нежные, словно влюблённые, вздохи или звонкие звуки, другие с серьёзнейшим видом прилежно и неутомимо дули, дудели в пустые бутылки, как в фаготы, и под сей аккомпанемент посудного, винно-стеклянного оркестра все остальные с воодушевлением распевали, точнее, просто откровенно орали до одури непристойные песенки, азартно хлопая себя по коленям и животам; какофония выплеснулась в шутовские пляски вокруг стола, и дамы возвращались уже не на свои места, а, запыхавшись, прыгали к кому-нибудь на колени или совсем уединялись с кавалерами где-то вне зала; затем возлияние повторялось, и тогда — *in vino veritas!* — пьяненькие любимцы публики, идеальные мужи с ухоженными усами и бородками, такие все из себя, уподоблялись базарным кумушкам, перемалывали косточки отсутствующим, а то и сидящим за столом, доходило до лёгких потасовок, — и мне это тоже было очень, очень полезно запомнить.

А по какому поводу гульба, всем забылось напрочь, и когда Сальери, наконец, тихо объявился во главе нашего стола, когда произнёс вполне ожидаемую казённую речь и опорожнил бокал, все смотрели на него с тупым недоумением. Да и как-то ускользнуло, выпил ли Сальери действительно вино или гранатовый морс из хрустального графинчика рядом, знакомая хитрость для простачков, и поэтому, пьяно базляня, от Сальери потребовали штрафную. Он отнекивался, однако подала пьяненький голосок молодая певичка, из таких, знаете, «почти прим», которые мечтают не без помощи покровителей стать настоящими примами.

— Антонио, ну не будь букой, ну ради дам! — жеманничая, капризным тоном произнесла она, уверенная спяну, что красивой женщине всё простительно.

Но сразу наступила мёртвая тишина, все замерли: это было чересчур, слишком моветон, есть же границы. С предыдущим капельмейстером, с Гассманом, уверен, подобной фамильярности при всех не позволила бы себе даже его давняя фаворитка, — и кто его знает, этого Сальери, вдруг затаит обиду на всех, на свидетелей непочтения к нему? А уж он, капельмейстер, сумеет наказать, мало не покажется, и музыкантов, и певиц. Однако Сальери, устало улыбнувшись, налил немного настоящего вина, выпил со всеми, напомнил про завтрашние репетиции, посидел, молча закусывая, — и исчез так же незаметно, как и появился. К нам сунулись другие, из торжественного зала, дескать, надо бы продолжить банкет, где маэстро Сальери?

Заглянули в гардероб — накидки и шляпы Сальери там уже не было, улизнул, ловкий хитрец.

Понятно дело, все взъелись на певичку: «Совсем сдурела, чего себе возомнила? У него невеста! Может, поэтому ушёл.»

— Ой, ну вот только вот этого вот тут не надо, — закачала она пьяным пальчиком. — Думаете, у Антония только одна Клеопатра, хоть даже невеста? Ха, ха, бога ради не смешите, он же итальянец!»

Тогда все взялись обсуждать происхождение Сальери, поражаясь, как в столь молодом возрасте удостоился он должности, которой гордился бы любой всемирно известный музыкант и композитор Европы? Стали предполагать, кто же он на самом деле, — ну правда, ну не сын же он торговца, лавочника? И договорились в своих догадках, что Антонио Сальери — а кто знает, может, так и есть? — внебрачный сын Гассмана и итальянки, нет, не просто итальянки, а герцогини. Да, да, наверняка именно так, как же сразу не догадались? Дескать, через несколько дней после родов герцогиня умерла, но завещала бриллианты на воспитание сына, и Антонио обучался не только музыке, но воспитывался тайно ещё

и иезуитами, а иезуиты — они кто? Иезуиты — это у-у-у! у них же не зря у всех чёрные капюшоны ниже бровей, тайный орден, по любому своего добьются, они всякие тайны хранят и передают только своим, как ключи, вот в чём дело!

Итак, я понял важное для себя: не то, что Сальери верен своей невесте, а то, что он избегает выпивать с артистами. Но почему: из-за головной боли, из-за желудка или из-за боязни, что развяжется язык? А может, он тоже чувствовал себя одиноким среди других, словно на чужой территории? Как и я?

Когда пошли на ещё один круг, мне всё-таки пришлось поддаться уговорам, иначе вышло б совсем невежливо, и я тоже выпил, догоняя упущенное, и даже изрядно: непросто заглушить горечь невнятных, но беспокойных мыслей.

После столь тяжкого и позднего застолья прикасаться на следующий день к музыкальным инструментам ни у кого не было ни малейшего желания, мне тоже не хотелось. Казалась, скрипка — просто обрубок лакированной деревяшки, смычок не пел, не скользил, канифоль тут ни при чём, он лишь нестерпимо пила струны, даже не струны, а руку, мозги, всё тело, это было ужасно. Надо сказать, что хотя музыкантов в Венской опере состояло много, все вместе мы собирались нечасто, для подготовки и исполнения крупных музыкальных форм, скажем, опер или больших концертов, а остальное же время, разбитые на группы, репетировали камерно, в разных помещениях, под руководством авторов или дирижёров. Так было и в тот день. Мы подолгу настраивались, подстраивались, вроде бы даже начинали играть, правда, каждый раз сбиваясь и возвращаясь к начальной цифре, а на самом деле желали, чтоб всё поскорее закончилось. И возможно, так, ни шатко ни валко, еле-еле, душа в теле, мы и протянули бы до конца дня, если б не этот новый капельмейстер, не этот Антонио Сальери. Несколько раз он заглядывал в нашу аудиторию, смотрел на всех с удивлённой улыбочкой, и нам с титаническими муками пришлось-таки заиграть всерьёз, и только тогда Сальери отцепился, отправился в другую аудиторию; там не хватало музыканта на ударных, не явился с похмелья, и Сальери, по рассказам, сам сел за ударные, велел дирижёру начать репетицию и подчинился тому как обычный музыкант. Неслыханное для капельмейстера панибратство с подчинёнными.

А едва свежеиспечённый капельмейстер освобождался, все, кому не лень, приставали к нему с просьбами и жалобами, и с пустяками тоже: у одних музыкантов другие одолжили из аудитории стулья, обещали вернуть, а всё не несут, а они тоже не обязаны за других свои же стулья таскать, они в грузчики не нанимались, они музыканты императорского театра, это дело принципа, — и тому подобное.

Предыдущие капельмейстеры, даже не сомневаюсь, просто бы цыкнули, наорали б на жалобщиков, и те попрятались бы по щелям, и больше таких вопросов никогда б не прозвучало, решали б всё сами. Но Сальери, молча выслушав, сам переносил пыльные стулья, по два в каждой руке, придерживая плечиком дверь. А потом отряхивался в сторонке, протирал бархоткой замшевые туфли. Капельмейстер королевской оперы! Очень уж хотел господин Сальери, Господин Чего Изволите, всем услужить, со всеми поладить, а невдомёк, что лакейским поведением он не себя унижал, — торгашам-то ведь не привыкать семенить да лебезить, — он своё, вручённое ему звание унижал.

И ещё кое в чём пришлось Сальери крутиться ужом. Дело касалось возлияний: сам-то избегал, но других ведь не удержишь? Да и Его Величество Император говаривал: «Даже моим железным гвардейцам позволительно лёгкое пьянство. А уж моя королевская опера — тем паче не монашеская келья. Но — без пожаров, взыщу!» Ну а поводы всегда же были. У альтиста круглая дата, юбилей, отметить надо? Надо, тради-

ция, хотя бы где-нибудь в скромном уголке, лишние хлопоты занудным дежурным старичкам, проверяя потом, все ль светильники погашены.

А с кого, если что, за музыкантов спросят? С капельмейстера, конечно. И Сальери проявил прямо-таки византийскую хитрость: сам сбрасывался на все междусобойчики, однако, ссылаясь на дела, заявлялся лишь под конец, — зато уж ничто не миновало его улыбчивого взгляда.

Но меня интересовало совершенно другое: когда, наконец, Антонио Сальери предстанет в главной своей ипостаси, композитора и дирижёра, и не перед нами, послушными музыкантами, а перед взыскательной, избалованной, повивавшей всё и всех венской публикой, столь же влюбчивой, азартной, сколь и безжалостной, бессердечной, способной небрежно растоптать самонадеянного неудачника. Все знали, что этот судный день для Сальери обязательно наступит, и совсем скоро. Сальери тоже знал, знал лучше других, правда, по присущей ему любезной улыбке нельзя было догадаться о гнетущих его страхах: возможно, он был фаталист и думал, что его судьба в руках провидения, высших сил, и будь как будет, а может, умел скрывать все свои опасения за вежливой маской. Не могу сказать, говорю же, Сальери всегда оставался для меня загадкой.

Репетировал с нами свой премьерный концерт маэстро Сальери, как мне казалось, спустя рукава, в треть силы, добиваясь всего лишь точности, и ни грана эмоций, ни-че-го, я имею в виду, совершенно не требуя полной отдачи, как другие дирижёры, которые бесчисленными замечаниями и придирами изводили музыкантов до изнеможения, до одури, аж свет не мил, а Сальери — нет, его вполне устраивало одно лишь пунктуальное следование партитуре, и едва мы входили во вкус, желая заиграть интенсивнее, с чувством, как способны, капельмейстер с улыбкой стучал ладошкой по пюпитру, благодарил и прощался до следующего раза.

Что он делает, думал я, изумляясь его беспечности, — ну неужели он так самонадеянно глуп, если готовясь к своей премьере, не старается выжать из нас всё? Для него же премьерка обернётся катастрофой, вылетит из оперы в раз и вслед ему швырнут его ноты и напудренный парик вдогонку. А может, собственная жизнь кажется ему пресной и он хочет её подперчить, обострить, пан или пропал, азартно ж? Более того, на утренней репетиции за день до премьеры, Сальери весело объявил: «Если дадите мне честное слово, — а я вам верю, — что ни сегодня, ни завтра до моего концерта не прикаснётесь к инструментам и будете только отдыхать, — предоставляю всем отгул до завтрашнего вечера. Как вам предложение, господа?»

Полтора дня свободы от театра, от сцены, друг от дружки; дрыхни, если угодно, и сколько угодно, — плохо ль? Конечно, все не колеблясь согласились, и я тоже, и поклялись бы чем угодно, такой подарок! Только уже дома меня объяла тревога. Музыкант каждый день должен играть, хоть немного, хоть несколько часов, просто обязан. Это как канатоходцу ходить по канату, тут безделье и лишний отдых — себе дорожке, выйдет боком. А мы несколько дней играли спустя рукава, и ко всему этому не играть ещё больше суток — это мука, ощущаешь зуд в подушечках пальцев, под кожей, хоть она и тверда от привычных мозолей, зуд навязчивый, неотступный, и мне стоило большого усилия над собой, чтобы сдерживать обещание, чтобы не взять инструмент и не поиграть от души; я даже спал беспокойно, просыпаясь в холодном поту, словно что-то забыл... И уже не сомневался: безумный фаталист Антонио Сальери во цвете лет не только сам получит прощального пендаля под зад, но и нас за собой потащит, мы ж тоже посмешницей станем — и как мы потом?

И только когда в переполненном и затихшем сверкающем зале Венской оперы новый капельмейстер, с небольшой заминкой, начал свой концерт, — тогда только я понял, что Сальери вовсе не самонадеян и не

глупец, а наоборот, это я опять попал пальцем в небо, не сумел его разгадать... Маэстро расположил нас не по центру сцены, а большей частью на одной половине, сам же стоял на другой стороне, возле одинокого стула, на стуле лежал открытый футляр с р скрипкой. Мы настроились и ожидали, что Сальери станет концерттировать, сам солировать на скрипке, задавая темп и характер исполнения всему оркестру. Однако господин капельмейстер поступил иначе: взяв только смычок, он сделал шаг вперёд, поклонился залу и поднятым смычком дал нам команду играть. Но сразу же, при первых наших звуках, недовольно замотал головой: мол, не то, ну не так! Приложив ладонь к сердцу, Сальери опять поклонился залу, ещё ниже, словно извиняясь и за нас, и за себя, за то, как сейчас поступит. Повернись он к залу спиной, — а там присутствовали и высокородные особы, — это было б воспринято как непочтение, неуважение к слушателям или даже оскорбление, и Сальери поступил весьма хитро. Его недвижные ноги оставались всё в том же положении, а вот плечами и головой он обернулся к нам, совершенно не напрягаясь от этой позы, — и с внезапным въедливым любопытством стал вглядываться в нас, словно видел впервые, переводя взгляд с одного на другого, и совершенно ничего не предпринимая. Пауза затянулась до неприличия, до скандала, публика уже закашляла, заёрзала в недоумении. Вдруг свободная рука маэстро совершила властное, наполненное силой, решительное движение, каким отодвигают никчёмную занавеску, — или, если вернее, — будто смахивая, срывая с мрачных углов заскорузлую паутину. И вот тогда, вот тогда и началось.

Вздываясь над нами, Сальери, маленький тёмный демон с сияющим нимбом от люстр над головой, метнулся тенью и рассёк воздух смычком, словно рощерком шпаги вызывая нас на поединок, нанёс укол за уколом в нашу сторону, и эти безжалостные уколы были вроде бы нацелены в нас, в музыкантов, а может быть, — не знаю, верно ли такое сравнение, — этими острыми выпадами он пытался уколоть, пробудить от спячки нечто равнодушное, неповоротливое, безразличное ко всему, самодовольное и пресыщенное, нечто, что лоснясь и сияя сытым благополучием, царствовало и на сцене, и в воздухе, и в зале, и в нас самих. Да, хитрец Антонио всё предвидел, нарочно сдерживая на репетициях нашу силу, и его хитрость удалась на все сто и больше.

Изголодавшись по игре, по инструментам, мы горели нетерпением, как норовистые кони, застоялые перед бешеной скачкой и ждущие только посылы уздой, хлыстом или шпорой, чем угодно, только б, наконец, сорваться с места во весь опор, во всю свою первобытную мощь, и даже не припомню, когда мы играли так неистово, безудержно, словно боясь, что потом, после, у нас навсегда отнимут скрипки, флейты, фаготы, виолончели и на наших глазах изломают, изрубят, а может, заставят самих растоптать их, вырвать струны и клапаны; и вот нам дали сыграть на них в последний раз, в последний раз утолить голод к музыке, извлечь, исторгнуть, испить из инструментов всё, на что они способны и на что способны мы. Нам оставалось лишь слепо довериться маленьким, кукольным рукам капельмейстера, его повелительным пассажам, и Сальери, подняв музыку на острие своего смычка до верхней, почти невозможной точки, вдруг резко бросил, обрушил громаду звуков на нас, на всех, и я, вглядываясь в сияющую, слепящую тьму огромного зала, уже слышал, ощущал, как его мёртвая тишина дрогнула, задрожала, завибрировала, и, отражаясь от стен, от балконов, к сцене понеслась волна, вырывающая публику с сидений, зал взметнулся, слушатели вскочили, аплодировали стоя, на цыпочках, высоко подняв руки, — успех, бешеный успех, сумасшедший!

Но Сальери не сразу отреагировал на зал, а только когда мы вышли к рампе на поклон: тогда только, выкрикивая забавной скороговоркой и чуть коверкая очередные имена музыкантов, он одной рукой показывал на нас, а другой дирижировал уже публикой, её овациями, смело, даже

дерзко. Вряд ли он дурачился, скорее всего, он был возбуждён, как и все, блестящей премьерой, и на следующих концертах он уже не представлял нас подобным образом, вероятно, решив, что теперь мы уже известны навсегда.

Однако вспоминая этот эпизод позже, я подметил: а всё-таки потомственное, торгашеское прорезалось в маэстро Сальери — он расхваливал нас, как бойкий торговец на рынке нахваливает свой превосходный, не подлежащий сомнению, безупречный товар. Чёрного кобеля не отмоешь добела!

Но это было не всё, у столь впечатляющего действия было не менее впечатляющее продолжение.

Сальери сошёл со сцены, с пьедестала, и — наверно, предвидя, что сейчас произойдёт, — медленно, как подобает триумфатору, пошёл по широкой ковровой дорожке на выход. Что началось...

С одного края женщина крикнула: « Антонио, ну посмотри на меня!». Сальери обернулся и дама мягко упала на чьи-то подставленные сзади руки, наверно, потеряла сознание. С извинениями, а то и просто толкаясь, роняя других, дамы прорывались меж кресел к проходу, к Сальери, ступающему мягкой, вкрадчивой походкой, тянули к нему трепетные ручки, лишь бы коснуться его, хотя бы одежды, пытаясь сунуть ему в руки или в манжеты рукавов записки.

Молодые надменные аристократки в нетерпенье стаскивали за пальчики кожуру тонких, искусной выделки, перчаток и, забыв о приличиях, с криком, по-девчачьи, из-за плеча, бросали их Сальери, а тот непринуждённо, будто всю жизнь только этим и занимался, ловил перчатки и шутливо укладывал неожиданные трофеи на своих плечах, словно длинные, изысканные шкурки диковинных зверьков, — кстати, с именными вензелями, по которым при желании можно найти хозяйку, чтоб вернуть наедине, с глазу на глаз. Дамская перчатка, игриво брошенная сверху, с балкона, тоже была поймана итальянцем, хотя ради этого ему пришлось с лёгкостью танцевального «па» скользнуть несколько шагов в сторону.

Сальери вынул торчащую из перчатки записку, вероятно, надушенную, и, понюхав её с наслаждением, как благоуханный цветок, положил в карман камзола, а саму перчатку приобщил к остальным.

И отовсюду раздавались эти женские мольбы, страстные призывы, но никто из дам не звал Сальери по фамилии, только по имени: «Антонио, Антонио!» — будто они уже коротко знакомы и ждали, когда он, наконец, назначит им тайное свидание.

Доводилось мне слышать похвальбу артистов, как им досаждают порой назойливые поклонницы, то поджидая у дома, то прячась в экипаже, а то и переодеваясь лакеями, но никогда не видел я столь откровенного желания, готовности дам, — и не одной, а многих, да ещё каких дам, неприступных гордячек, — отдаться незнакомому мужчине, и вовсе не за его внешность, совершенно заурядную, не за роскошные подарки, а за его музыку.

А Сальери, чью смуглость ещё более оттенял зелёный цвет камзола, в белом, как чалма, парике, приостанавливаясь и сложив ладони на восточный манер, весело кланялся во все стороны, ни дать ни взять факир из арабских сказок, и я подумал: может, и правда некие иезуиты подарили ему секрет колдовской музыки? И ещё горше было сознавать: между мной и Сальери не четыре с лишним года, или хоть пять, между нами — пропасть.

Дебют капельмейстера, а тем более столь великолепный, полагалось отпраздновать, и когда публика схлынула и в театре поутихло, Сальери как виновник торжества, музыканты, а заодно молодые оперные певицы и танцовщицы кордебалета, собрались в помещении на втором эта-

же театра, где было уже приготовлено застолье. Ждали только одного сиятельного вельможу, Их Светлость, для поздравления, и сей аристократ, сопровождаемый лакеями, наконец, пыхтя, явил себя: напомаженный, надушенный селадон в атласном белоснежном наряде, с жирными ляжками и с неохватным брюхом, на которое во множестве ниспадали роскошные звёзды на помпезных лентах, заслуженные наверняка не на полях сражений. Чрезвычайно важное, влиятельное лицо, пред которым в театре или немели, или трепетали, но которого обречённо почитали благодетелем и покровителем муз, да и как иначе: вхож в самые высокие круги, а уж за кулисы, в гримёрки актрис и танцорок так и вообще запросто, как к себе в садовую беседку, это уж само собой. Ну и, конечно же, — кто бы сомневался! — несмотря на комплекцию, тонкий ценитель прекрасного, особенно свежей клубнички.

— Я в целом удовлетворён вашим дебютом, господин капельмейстер, — тягуче, с паузами, хватая воздух пухлыми масляными губками, выговаривал вельможа и такими же масляными глазами ласково разглядывал замерших в глубоком приседе, в книксенсе, новых артисток, молоденьких и хорошеньких. — Однако не забывайте, — продолжал величаво сопеть сиятельный господин, — при назначении вас на должность моё согласие имело определённый вес. Не разочаруйте меня и впредь.»

Сальери в ответ покорно кланялся и вдруг испросил разрешения выйти.

Вельможа понимающе сложил губки, не сомневаясь, что именно из-за его сиятельного присутствия беднягу музыканта, взволнованного такой честью, приспичило по деликатному делу, и милостиво кивнул цыплячьими веками. Сальери тихонько вышел, однако по коротким шагам в коридоре — а я стоял возле двери, — можно было догадаться: направился он вовсе не к уборным. А куда? Меня разобрало любопытство, я незаметно скользнул следом — и что увидел через приоткрытую дверь в полутёмной комнате рядом? Угадайте? При тусклом свете уличных фонарей и лунного неба Антонио Сальери, притулившись на корточках к подоконнику, порывисто исписывал нотные листы.

На цыпочках я вернулся ко всем, но вот Сальери задержался, а вернувшись, извинялся, благодарил вельможу за благосклонное внимание, кивал покорной головой, как фарфоровый китайский болванчик, правда, отвечал односложно, с отрешённым, рассеянным взглядом, и явно не сановник владел в те мгновения мыслями Сальери.

Как вам такое? Допустим, снизошло к нему вдруг вдохновение, озарение, допустим. Но его ведь ожидал в зале, терпеливо ожидал не абы кто, а всесильный, всемогущий вельможа, всевластный господин, от чьего расположения и благоволения зависела сама будущность капельмейстера, карьера, финансы, буквально всё. Даже пусть эта его внезапная мелодия замечательна, пусть восхитительна, бесподобна даже, — она что, последний глоток воздуха, без которого нельзя больше жить и из-за которого стоило так рисковать, рисковать всем? А ведь узнай Их Светлость, что Сальери просто пренебрёг его высочайшим присутствием — понятно, как мгновенно закончилась бы вся славная карьера капельмейстера Антонио Сальери. Быстрее, чем даже бы после провальной премьеры, случись она таковой. Никто бы из нас так не рискнул, не дерзнул, и я тоже. И опять сын торговца, ставший творцом музыки, удивил меня и опять заставил ощутить беспокойство, причину которого я не мог себе объяснить.

После своего триумфа Сальери объявил конкурс композиторов, из чьих сочинений будет составлена концертная программа. Я удивился, сколько в опере тайных композиторов, даже исполнитель на ударных — и тот туда же, в сочинители мелодий! Сочинения в отдельной аудитории принимала комиссия, но приговор выносил единственный судья

— её председатель Антонио Сальери, и оказалось, он, столь любезный и обходительный в обращении, с чужой музыкой не церемонился. Мы, смущённо переминаясь, стояли в очереди перед начальственным кабинетом, когда первый соискатель вышел, наконец, от комиссии. Видок у него был — будто на конюшне высклки.

«Я сказал ему, — оправдываясь, горячился музыкант, — можно что-то поправить, на Ваше усмотрение, и вот, смотрите, как он мне поправил, он же всё исчеркал, места живого не оставил!» Мы заглядывали сочинителю через плечо, в его исковерканные, испещрённые свинцовыми росчерками ноты, а он сжимал кулаки, порывался вернуться, обещая прибить, придушить двумя пальцами эту блоху ничтожную, этого идиота Сальери, однако товарищи удержали бедолагу: «Да погоди ты, погоди, не бесись, давай посмотрим». Отошли вместе к клавишину, стали играть, восклицая: «А ведь в самом деле лучше!»

Мне претило подобное унижение, и я просто передал господину председателю ноты, даже не допуская мысли, чтобы кто-то вторгся в святая святых, в моё творчество. Из семи моих композиций Сальери отобрал для оркестра только две короткие, обьявив, впрочем, что не всякий виртуоз сыграет такое. Но это замечание показало мне даже лестным: настоящий композитор не должен подстраиваться под исполнительские навыки неумех. К тому ж, мне самому как раз эти композиции нравились больше остальных, они были мои самые удачные, самые вот такие!

Моя музыка была отдана в работу, и не любительскому, а профессиональному камерному оркестру; на правах автора я не играл на скрипке со всеми, а стоял чуть поодаль от дирижёра, смущённо подсказывая ему; тот понимающе кивал, учитывал мои пожелания, и претензий к репетициям у меня не было.

А в обеденный перерыв на площади перед театром я увидел, как рабочие, макнув швабру в ведро с клейстером и промазав тумбу, наклеивают и старательно разглаживают ладошками свежую афишу «Дебют молодых композиторов. Новые имена Венской оперы.» Моё имя стояло не на первом месте, а в алфавитном порядке, но со скромным, строгим достоинством, и это было только начало: моё блистательное будущее, я не сомневался, уже обозначилось. Впереди меня ждали великолепные шумные столицы, суэта ушлых импресарио и прислуги в забронированных для меня гостиницах, выкрики мальчишек газетчиков о моих премьерах; бойкие группки барышень, в моём воображении они все представлялись мне почему-то парижанками, эти парижанки готовили наряды и причёски, чтобы выйти в свет, и этим светом для них станут мои концерты, — они будут шушукаться, осведомляться, приехал ли я, — и по очереди модных шляпок побежит ликование: «Приехал, будет!» Толпы поклонниц будут преследовать меня с криками: «Вон он, да вон же, свернул за угол!»; будут подстерегать меня у театра, у гостиницы, я бы хотел такой охоты на меня, совсем не прочь. Со знаменитостями же подобное происходит, так почему и не со мной? Мне виделись торжественные залы и оркестры, которые ждали только мановения, строгого или непринуждённого взмаха моей руки, и потом моя блистательная, упоительная музыка подарит всем несказанное, не сравнимое ни с чем наслаждение, блаженство из блаженств. Вдгонку воображение рисовало и более смелые фантазии насчёт девушек-поклонниц, не буду уточнять, какие, я грезил наяву, и все мои прекрасные мечты-надежды имели право на себя, — тогда, в моей молодости, всё ещё было возможно. Тогда, давно...

Что и говорить, весть о моём композиторском дебюте и не где-нибудь, а на сцене великой Венской оперы, взволновала моих домашних, я ведь не просто заявлял о себе, я мог громко и гордо напомнить о всей нашей семейной династии музыкантов. Отцу, дяде и деду не терпелось попасть на мою премьеру. В радостной суете считали дни, и наконец,

дождались, и дед спрашивал всех, как он выглядит, как его бакенбарды, ровные, нет ли, а для солидности и в честь такого праздника ещё вдел в петлицу белую гвоздику: это было старомодно, напыщенно, но по-стариковски трогательно.

А уж моё-то волнение и описать трудно. Хотя зал оказался не заполнен, — всё-таки авторы же никому не известны, — и это чуть успокаивало, ажиотаж всегда нервирует. Впрочем, достаточно много было молодёжи, тех, кто всегда жаждет нового, что тоже обязывало, будоражило, и я верил, что именно мои ровесники и оценят мою музыку, насыщенную сложными, в духе времени, элементами и пассажами.

После того, как меня, с ватными ногами, представили публике в роли композитора, я мог вместе с отцом, дедом и дядей усесться в первом ряду и дожидаться своего триумфа спиной к слушателям, но мне хотелось почувствовать их живую реакцию, и я отправился в скрытое убежище авторов, ждущих приговора, — в так называемую смотровую комнату, хотя нередко её называли ещё и пыточной. Это была угловая, возле сцены, пыльная комнатенка, загромождённая реквизитом и фрагментами предыдущих декораций с изображением пустыни, пирамид и верблюдов.

Протиснувшись мимо досок с торчащими гвоздями, я добрался до угла и, припав к маленькому отверстию-глазку, взялся наблюдать за публикой; меня била дрожь. Но лучше б не смотрел: к ужасу, мои творения в зале слушали, вовсе не затаив дыхание, а ёрзая в креслах, а то и покашливая. В конце раздалась вялая, деревянные хлопки, но вдруг в среднем ряду один придурок, явно пьяный, нарочито громко зевнул, зевнул совершенно по-хамски, раззявив, как мерзкую дыру, гнусную пасть, на весь зал; раздалась смешки и опять хлопки, уже оживлённее, и под эти смешки и хлопки я вышел поклониться и тут же ретировался со сцены, боясь услышать ещё и свист, а это стало бы совершенным фиаско.

Можно было уговаривать, успокаивать себя: первый блин и всё такое, но чтоб понять моё состояние, надо пройти через подобное самому, — а лучше не испытать никогда. Утешение, если это можно назвать утешением, было лишь в одном: полного провала не произошло, а только постыдная неудача, о которой надо срочно забыть, и в другой раз, думая, эти идиоты и хамьё подзаборное поймут, как ошибались, будут ещё каяться за своё тупое свинство. Однако, по правде сказать, я был совершенно раздавлен и обессилел, почти до обморока.

На улице ждал заказанный роскошный экипаж с бронзовыми завитками на лакированных чёрных дверцах, с пурпурными султанчиками на вороних жеребцах, — непозволительно дорогой, парадный экипаж. Знаете, случалось ведь, дебют молодого композитора приводил публику в такой экстаз, что она, видя в нём нового кумира, вываливалась следом за ним на улицу; его провожали рукоплесканиями, овациями, чуть ли не на руках несли, и мой растревоженный мечтами дед в расчёте на подобное не пожалел денег, лишь бы моё торжество, в котором никто из родни не сомневался, было обставлено по высшему классу. Но после моего дебюта улица была пуста, никто не выбегал вслед, только швейцар под фонарём у входа сдержанно поклонился, — может, узнал, а может, из привычки кланяться всем входящим и выходящим, кто поприличнее одет. Да ещё застоялые кони, косясь, оживлённо зафыркали при нашем приближении. И всё. Таким вышел мой публичный дебют, дебют позора.

В экипаже дядя, добрая душа, пытался как-то разрядить неловкую тишину, пошутить, но дед и отец всю дорогу молчали. Дома отец спросил: «Почему?» — и я, ища себе хоть какое-то оправдание, заёрзал, заюлил: «Не я ж выбирал, сам Сальери, из многих моих композиций.» — «Вот теперь понятно: это он нарочно, — убеждённо сказал отец, — а что по-лучше, небось, запомнил и ещё к себе тиснет. Итальянцы они пронеры, не дураки, хоть на рынке, хоть где!»

Деда никакие объяснения не убедили и всё чаще я видел его за столом хмурым, молчащим, в мою сторону он вообще не глядел. А вскоре и совсем слёг. Конечно, не мой провал послужил причиной его болезни, болел он давно, но я не сумел поддержать старика, не скрасил его последние дни хотя бы надеждой, надеждой на успех его потомства, и я, старательный, беспрекословный, никому не желая зла, в одночасье оказался виноват кругом, перед всеми...

Дни деда были сочтены; торжественно печальный отец шепнул мне: «Иди», и я вошел в комнату деда. Там были ещё моя родная и двоюродная сёстры, сидели по обе стороны от постели старика, ухаживая за ним. Дед лежал на высоких подушках, вытянув одну руку, как плеть, вдоль тела, а другая согнутой ладонью покоилась поперек его впалого живота. С волнением ожидая его последнего слова, напутствия от умирающего главы семейства, я что-то проговорил, сумбурное, общие фразы, наверное. Ответа пришлось ждать.

Ещё больше морщина жёлтый лоб, старик с трудом приподнял лохматые седые брови, сияясь поднять заодно и веки, и тускло глядя мне в грудь едва приоткрытыми, гноющимися глазами, хрипло вздохнул, скрипя верхнюю губу и произнёс лишь одно слово: «Жаль...». Я думал, он продолжит, однако его рука на животе шевельнулась, толкнулась в мою сторону и я понял: мне пора уходить. Или проваивать с глаз долой. Отец на выходе спросил озабоченно: «Ну как?», я сутуло пожал плечами и ушёл к себе. Вряд ли словом «жаль» старик хотел выразить сожаление о своей предстоящей и неизбежной смерти. Это «жаль» было обращено именно ко мне, к тому, кем я, к гордости семьи, мог бы стать, порадовав и прославив род, фамилию, но так и не стал. А не стал — почему? Не потому ли, что дорогу мне заградил господин Сальери? Вот что сделал со мной и моей семьёй этот пришлый, ушлый, хваткий коротышка итальянец.

Ночью, когда по коридору, приглушённо переговариваясь, зашаркали домашние со свечами, — наверно, дед только что отдал Богу душу, — я в своей комнате лежал на кровати, уставясь немигающими глазами в тёмный потолок, и задавался одним вопросом, который предпочитал мой отец: «Почему?» Я родился с музыкой и ради неё, с первого дня моя жизнь была одна сплошная музыка. Покорно, безропотно, словно маленький паж, маленький раб, хочу, не хочу, я служил ей верой и правдой, боялся потерять минуту без неё, боль и утешение, смирение и надежды, муки и радость, слёзы и мечты — всё ей, только ей одной, сколько себя помню, с младенчества. Так почему? Почему высокая музыка, которую считал я своей богиней и покровительницей, почему моя Муза, моя госпожа, глуха и безжалостна ко мне? За что? Или она, как и все там, на самом-самом верху: кого люблю — того наказую? А любит ли? Уже и не верится.

А тот, другой, который Антонио Сальери, мальчишкой — чем он жертвовал во имя великой гармонии звуков? И гадать не надо: ничем, он о ней и понятия не имел, кто ж в торговой лавке, среди мучной пыли и чанов с мясным фаршем, про музыку вспомнит? Вот шалости и проказы — о, это, поди, сколько влезет. Наверняка мальчишку отправляли посыльным, носился по улицам, ну а под этим предлогом, уклоняясь от маршрута, совал, как щенок, свой любопытный нос во все щели, во всякие ржавые двери всяких руин и развалин, а там-то, конечно, там всё неожиданно, и страхи, и находки, не важно какие, зато ведь дух захватывает, а ещё и воображение на взводе, раздолье фантазии, и зачем ему какие-то ноты, репетиции до обмороков, с утра до ночи, и может, в том и ответ, разгадка. Он, маленький Антонио, научился удивлению, радоваться озорству, вот и сгодилось потом, когда, наигравшись всем остальным, выбрал себе другую забаву, позаманчивей и поазартней, — музыку. А в моём старательном, в моём беспросветном детстве не случилось, не было даже жалкого, драного башмака, который можно от души,

с гиканьем, с ликующими воплями гонять палкой, не довелось мне этого. Моя способность удивляться была умерщвлена ещё в детстве.

Но неужели высокая серьёзная музыка — продолжение детских забав и шалостей? Или причина в другом? Может быть. Сальери даже не думал о музыке, когда я успел от неё устать, а теперь он дышит музыкой, а я уже, если быть честным перед собой, задыхаюсь от неё. И кто теперь я? Как там в глупой детской песенке? «Учили птичку петь, учили, да завод перекрутили, а чучельник достал крючок, из птички вынул голосок и отпустил гулять по кочкам её пустую оболочку.» А ведь это обо мне. Господину Сальери — восторги и овации на цыпочках, вприпрыжку, приём от Его Величества, а меня, как пустое чучело, на всеобщее осмеяние, на потеху пьяным скотам в полупустом зале?

От подобных мыслей не укроешься одеялом. Отец отучил меня от слёз, но слёзы, без спроса, стояли в горле, я задыхался ими.

А беда, как известно, одна не ходит, скучно ей одной-то. Меня не подстерегла внезапная травма, не слёт с простудой, беда свалилась, откуда не ждал, и потому показалась страшнее многих прочих, она коснулась моих пальцев. Сиживая в винном погребке, не раз слышал я в пол уха байки о всяких мошенниках и шулерах, чьи ловкие пальчики, особенно после зачистки подушечек мелким наждаком, вытворяли воровские чудеса, будь то вскрытие замков, хитрые кражи или угадывание наощупь краплёной игральной карты. Рассказывали такое шепотком, с азартным одобрением, а я, прислушиваясь, едва сдерживал улыбку: детский же лепет, наивные взрослые дети, что они знают о настоящих пальцах? Никакие пальцы, хоть фокусников, хоть прохвостов, не сравнятся с пальцами скрипача, никого, ничьи. Разбуди среди ночи, назови скрипачу знакомую мелодию, и его пальцы, пусть они в мозолях, пусть в язвах, нащупают, исполнят мелодию безупречно. Это не бахвальство, это бесспорная истина. И вот вдруг, за обедом, я потянулся к салфетке, смотрю — а палец левой руки, безымянный, подрагивает, мелко дрожит, сам по себе, что за шутки! Это было странно, немислимо, безумное наваждение; положил ладонь на стол, шлёпнул по ней, тоже вроде в шутку, прижал — не проходит! Массировал пальцы до хруста — но кошмар продолжился, теперь к безымянному добавился и мизинец, за компанию, оба пальца хаотично вздрагивали, будто рыбы на суше, словно не принадлежа руке и отбившись от своих братьев, и чем дольше я с испугом смотрел на эту дикую пляску, тем сильнее она распалялась, и паника охватила меня, как пожар.

На репетиции, — к счастью, была только репетиция, а не выступление, — мои музыкальные пальцы, прежде совершенно послушные абсолютному слуху их хозяина, просто онемели, как деревянные стручки, елозили, возили по струнам, и я впервые, будучи взрослым, с ужасом услышал собственную фальшь, и не только один я: изумлённо покосился мой сосед, и не веря своим ушам, посмотрел в мою сторону дирижёр. Я боялся сбиться ещё раз, но сомнение уже засело в мой слух, в голову, в мои предательские пальцы, и этот подлый червь внутри ждал моей ошибки, чтоб напомнить о себе, и я помнил о нём, я был парализован, всё могло кончиться крахом: хоть раз дай другим повод усомниться в твоём мастерстве — и твой авторитет, уважение к тебе, всё мигом полетит в тартарары.

Сказавшись больным, я испросил несколько дней отдыха, но куда податься с моей внезапной бедой? И вспомнил про доктора, в чьей семье я репетиторствовал.

Доктор диагностировал у меня не болезнь, слава Богу, а всего лишь нервическое недомогание, для лечения которого, — не задаром, конечно, — определил меня в свой пансион, в одноместную палату, почти гостиничный номер. Здесь меня ждали расслабленный сон, прогулки по

скверу с фонтаном, ванна с ароматными солями и травами, забыл и о музыке и о тревогах, никаких обязанностей, знай себе отдыхай и ни о чём не думай. Были кроме санитаров ещё две помощницы доктора, одетые, как монашки-госпитальерши, но, вовсе не чопорные старушечки, а весьма и весьма ничего, обе приятные. Одна растирала, умащивала мне руки, другая, стоя за спинкой кресла, ласково поглаживала мои виски, и моя голова, покорно откинутаая назад, приятно покоилась в мягкой нише полной женской груди, словно я был послушный младенец, благодать, одним словом. Правда, вечером мне показалось, — хотя, может, и правда лишь показалось, — что предательский безымянный палец всё-таки снова дёрнулся. Тогда доктор, испытующе глядя мне в лицо, сказал твёрдо, что моё недомогание мы обязательно осилим, если не традиционными средствами, то другим, особенным. Доктор успел проехаться по миру и научился прелюбопытной практике. «В кожу больного в определённых точках согласно вот этому атласу, — на стол передо мной были расстелены рукописные картинки со схемами, — втыкаются китайские иглы, они разогреваются от зажжённых комочков ваты или шерсти. А вот и они сами, эти замечательные иголки, — и доктор с нежной осторожностью развернул кожаный свиток, внутри которого, каждая в своей узкой ячейке, лежали тонкие и острые иглы разной длины, стальные, бронзовые и костяные. — Придётся потерпеть, сильно потерпеть, но эффект получается очень даже очень. Попробуем в крайнем случае, если и так не пройдёт.»

И что вы думаете? Я сам был поражён: будто у моих вредных пальцев появились и разум, и слух, они словно испугались лечебной экзекуции страшными иглами и с того времени ни один из моих пальцев не дёргался и не подвёл меня. Любопытно, да? А с другой стороны, бывает ведь: перед визитом к дантисту зуб перестаёт болеть. Может, на подобное рассчитывал доктор и просто схитрил? Но результат-то получился!

За доктором не зря закрепилась слава опережающего своё время и предприимчивого, амбициозного врача, и он не оправдал бы лестного мнения о себе, если б просто ограничился моим успешным исцелением. Он хотел превратить свой маленький и скромный пока пансионат в известный и элитный, — исключительно для солидных, приличных, уважаемых клиентов, скажем, таких, как музыканты Венской оперы, людей воспитанных, с хорошими манерами, а заодно и со знакомствами в высоких, состоятельных кругах. Так вот, если я порекомендую его самого и его лечебное заведение господам музыкантам и знакомым богачам, а ещё бы лучше знати, — он будет мне чрезвычайно признателен, а я и мои близкие, — мы сможем рассчитывать на существенную персональную скидку в его аптеке и при лечении. Как мне такое предложение, по рукам? По рукам, почему нет, я ж ничего не терял.

— И вот ещё, — не в обиду, конечно, я вас уважаю, а только ради вашего здоровья, — говорил доктор, выписывая тесным почерком рецепт успокоительных пилюль, — не заморачивайтесь вы так на профессии, как бы её ни ценили, а то сами себя загоните, никакие лекарства не помогут. Отвлекайтесь, развлекайтесь, ну а женское общество — вообще бальзам для молодых людей, вы ж пока не связаны семейными узами, эти цепи ещё успеете примерить.

Золотые слова, я и сам это давно чувствовал, просто не складывалось со временем. А рекомендациями доктора пренебрегать нельзя, их положено исполнять, и не то чтоб я подался во все тяжкие, но навёрстывать — поспешил, с удовольствием. Вспомнил о приятелях, выпивали в погребках, перекидывались в картишки и, наученный владеть своим лицом, я в основном, к их удивлению, и выигрывал. Устроиться в жизни приятелям удалось без моей помощи, по финансам вполне неплохо, — по крайней мере запросов и расходов у них было явно поменьше, — так что, ничем не обязанные, они относились ко мне без прежнего пиетета,

запанибрата, чересчур фамильярно. Поначалу это задевало, — мне-то ведь ого каких трудов и таланта стоило добиться своего положения, занять уважаемую должность музыканта в Королевской опере, — но потом даже и легче стало, нет худя без добра: я мог, не заботясь о производимом впечатлении, говорить что в голову взбредёт, пусть их слушают.

В театре и хотел бы состричь, съязвить, и поводы были, и мишени подходящие, — а не могли, терпи, помня совет отца, помалкивай в тряпочку, а то донесут, сожрут и не подавятся. Зато перед приятелями я не стеснялся — рассказывал потешное, а то и скабрзное про обожаемых любимцев театральной публики, об идолах толпы, подсмотренное, подмеченное мною, и приятели реготали, давясь пивом и стуча кружками по столу: «Ну у вас там и правда театр! А ещё, ну, ещё?» — «Да пожалуйста!» — и я продолжал свои хохмы, посылая вдогонку несколько точных, язвительных штришков и довершая убийственный шарж. Это была моя маленькая сатисфакция напыщенным, чванливым господам и администраторам в театре, которые видели во мне всего лишь знающего своё место скрипача, лишь безликую, безропотную штатную единицу. Я не смел посмеяться открыто, так пусть другие за меня и вместо меня посмеются, потешатся, поиздеваются над моими обидчиками. Это утешало.

В погожие солнечные деньки мы выбирались из винных погребков наружу, на бульвары, на площадь, правда, здесь меня убивала испорченная, совершенно дрянная музыка, просто жуткая, отвратная. Тут орудовали уличные, дикие, площадные музыканты, одно название само за себя говорит: как уличные, простите, эти самые или как площадная брань, ничем не лучше. Мерзавцы гаумились над скрипкой, извлекая из неё то фальшь, то кошачьи взвизги, моя б воля, открутил бы им пальцы и гнал бы отовсюду, как прокажённых. Но нет, липнут к прохожим, пиликают с любезным поклоном, и не бедствуют: бросают им в шляпу, неплохо бросают, и не надо напрягаться ни на репетициях, ни на концертах перед взыскательной публикой, только знай подставляй шляпу. Есть воры щипачи, щипают чужие карманы, а эти поганцы примитивно щиплют струны, а заодно и души вместе с кошельками.

Один из таких уличных разбойников, усатый крепыш с густой, будто шерсть, шевелюрой, помню, похвально перед другим, как исполняет на скрипке простенький пассаж: уровень — ниже моей пятки, я ребёнком играл лучше, — но сколько самодовольства, весь из себя, ни вот на столько не понимая собственного убожества! Я презирал его, презирал и завидовал: может, самодовольство и есть самая надёжная опора счастью? Или уже само по себе счастье? Счастье, не доступное мне? Как научиться быть самодовольным, хоть иногда, хоть изредка? Я не знал, да и теперь не знаю.

Ну а где молодому человеку найти утешение от невзгод и неудач? Правильно намекнул доктор — в любовных интрижках, в объятьях дев. А в кампании приятелей знакомиться с девушками легче всего, благо их смешливые стайки нам всюду попадались на глаза, и в скверах, и на площадях. Приглашали барышень на танцульки, сладости, лимонад, — ну а дальше уж как кому повезёт: любовь везунчиков любит. Внешности я был обыкновенной, но и без явных изъянов, да и молодость сама по себе неоспоримое достоинство, не хуже красоты, и этого вполне хватало, чтобы вызывать у девушек кокетливое любопытство. К тому ж было у кого поучиться, вдоволь повидал амурные фортели театральных артистов, и я быстро освоился: тоже умел щекотливым шепотом, вкрадчивым словом парализовать томную или трепетную девицу, к обоюдному нашему согласию, и безо всяких драм, дело ж молодое.

И может, именно поэтому меня изумляли дуэли: в ту пору они были наказуемы, но случались, господа дворяне изволили баловаться оружием. В бульварных газетных листках появлялись заметки, сопровождаемые изображением скрещенных пистолетов с дымком из стволов, а если

меж стволами было вписано, красовалось ещё и изящное сердечко, то и наивному понятно: поединок из-за страсти. И тут уж, дамы, готовьте платочки, всплакнёте навзрыд, глотая жемчужины слёз, будет вам расцвеченная литераторами душеспичательная трагедь: благородный молодой человек, защищая честь дамы, вызвал соперника на поединок, дрались в уединённом, но живописном месте, с водопадами, с поющими и вдруг замолкшими птицами, герой смертельно ранен, доктора бессильно разводят руками, и после долгих мучений несчастный вьюноша умирает с именем возлюбленной N на запёкшихся устах... О, святые угодники, хрюкнуть хочется, как всё сложно-то, как накручено!

У музыкантов театра совсем не так, абсолютно. За грудки спяну друг дружку тряхнуть — запросто, и из-за дам тоже, ну дуэли... ну нету у нас ни «лепажей» дуэльных, ни сабель, ни шпаг, просто нету, не положено, а заколоть соперника смычком — осмелюсь предположить, весьма канительно, не стоит и пробовать. Сомневаюсь даже, что стал бы драться из-за какой-нибудь легкомысленной прелестницы — зачем? Объяви небрежно, что ты музыкант Королевской оперы, играешь на светских, даже на императорских балах, и одна из Их Высочеств, принцесса, на балу проходила совсем рядом, (ну вот как вы, мадемуазель! Мне кажется, даже духи у вас похожи...) помяни вскользь об аксессуарах, об украшениях принцессы, — и дама уже млеет, тает, поедает тебя глазами, ты для неё сияние муз, луч светозарный, а с лучом света даже и измена мужу или жениху — не измена вовсе, а только должная и возвышенная дань музам, дань прекрасному; не более того. И веселушки-хохотушки, и фантазёрки с трагическим изломом, жаждавшие неземной, роковой любви, и предусмотрительно осторожные замужние матроны, охотно и лишь для приличия пожеманничав, раскрывали мне пылкие объятия, — я это не из хвастовства говорю, а только к тому, что вовсе не был бесчувственным бревном, тоже кипела в жилах кровь молодая, при всей моей внешней сдержанности и невозмутимости.

Впрочем, именно эта моя внешняя сдержанность позволяла мне померить привязанность временных подружек, и они, поскучав, переводили свой жадный до страстей взор на других, не менее достойных. Се ля ви, и на том спасибо!

В оправдание скажу: другие артисты оперы, особенно в фаворе, в зените, так и вообще удержу не знали, — были у нас такие знаменитости, считали любовные улады высшей доблестью: я донжуан непревзойдённый, завидуйте!

Ему на выступлениях брошенные любовницы оскорбления выкрикивают, — негодай, мерзавец, свинья, ты ещё пожалеешь! — и вон из зала; публика в хохот, в свист, бьет в ладоши, в подлокотники, а ему хоть бы хны: ну пожурит администрация, так в другой раз на него же ещё больше народу набьётся, как мухи на гниль, в надежде на продолжение, скандал бывает поинтереснее и оперы: на операх, случается, и носом клюют, аж храп в паузах услышишь, а на скандалах — никогда! А кто в новые полюбовницы готовы — их уж сразу выдать: визжат, сразу бисируют, едва своего кумира на сцене увидят, а после некоторых на сиденьях, на обивке бархатной, так и вообще, как ворчали потом уборщицы, извините, «мокренько» случалось, и даже весьма-с, такие в театре амуры-каламбуры затевались. Нда...

Не напропаую, а с умом, конечно, с осторожностью, и я мог покаяться по дорожке, так сказать, сладострастия, а на излёте, накупив из-под полы «шпанской мушки», сошёлс я б, как и иные сластолюбцы, с какой-нибудь увлечённой, молоденькой, сумасшедшей своей поклонницей, — и была б это глупость несусветная, поскольку сердца восторженных дев весьма переменчивы, а рога, даже мелкие, чешутся, говорят, похуже лишая, хуже чесотки, знакомым на смех. А то бы и совсем заигрался, подцепив болезнь скабрзную, срамную, мучился б с позором и

от позора. Мог бы, мог докатиться, очень даже мог, Бог уберёт, одумался. Вернее, спасибо родителям, особенно матушке, вовремя заметили мои вихляния, направили на путь истинный, — нашли мне уроки для молодой девушки в весьма приличной семье. Ученица оказалась хорошенькая, смешливая и насмешливая, к музыке расположена, но без экстаза, без этого обморочного закатывания глаз, — достойная, умненькая, ироничная девушка. С такой я был бы не прочь остепениться, разменяв сумбурную свободу, уже надоедающую, на спокойные семейные узы, и усилиями родителей с обеих сторон к тому полегоньку, потихоньку и шло.

Но дамы дамами, а музыкальные инструменты, поверьте моему странному наблюдению, ревнивы не меньше женщин, очень не любят, когда ими пренебрегают, и мстят, как умеют: мозолями от струн, тугим упрямым и чугунным бряканьем клавиш, и потому я не давал себе поблажки ни в упражнениях на беглость, ни в профессиональных обязанностях, не расслаблялся, не жалел себя. Воспитание! Да и отец не забывал напомнить. Однако, — и возможно, в том нет никакого противоречия, — главным в моей жизни, согласно моему тайному убеждению, стало вовсе не богатство как награда от сильных мира сего удачливому музыканту, не будущий дом-особняк, не атрибуты завидной роскоши, о чём мечтали для меня родители и родственники, — ну зачем это фанфаронство, я ж не коммерсант, не нувориш, — и даже не семейное счастье, не уютное семейное гнёздышко. Я мечтал, желал, хотел, я жаждал утвердиться в музыке как творец, самобытный и непревзойдённый, — такой, чтоб и мой портрет в гравюре продолжил ряд великих или хотя бы знаменитых композиторов. Разве ради этого нельзя пренебречь удобствами, прожить хоть в нужде, хоть в Диогеновой бочке? По мне — так вполне.

И как бы ни уставал, ни выматывался я за день, но приученный к самодисциплине, обязательно выкраивал время для композиции. «Ad opus! — командовал, твердил я себе как заклинание. — К работе!»

Благо, подходящее, располагающее к тому место имелось, заботами предусмотрительного отца. Для домашних репетиций и для экстренных, поздних занятий музыкой, когда домашние отходили ко сну, он обустроил в отдалённом углу дома тихую комнату, с толстыми стенами, закрытыми плотной портьерной тканью, и с двойной дверью, обитой по краю войлоком, вначале готовил для себя, потом передал в моё владение.

Здесь было почти всё необходимое: клавесин, стол, шкаф и даже кровать, пусть и узкая. Уютное убежище от суеты: не надо зажимать уши, чтоб не отвлекало постороннее, можешь забыть, выбросить из головы все придумки, условности, обязательные для придворного музыканта; можно даже лежать на кровати прямо в костюме, положив ноги на деревянную спинку кровати. Славная комнатёнка!

Теснота не смущала меня, наоборот, в этом малом пространстве музыка, мелодии и мысли, не разбегались, а как бы концентрировались; тут я мог бы даже хоть философствовать, порассуждать о жизни, будь у меня свободное время... Только где б его взять, время про запас? Успеть бы неотложное, самое-самое.

Возле клавесина ожидал моего вдохновения чистый нотный лист. Я наигрывал произвольное, случайное, пытаюсь нащупать, уловить нечто необычное, что вдруг удивит, поразит меня самого, и я, чувствуя слабость, задрожав, прошепчу: «Вот оно...», Но, увы, подростковой самонадеянности уже не осталось, стал строже к себе, и как ни тискал я в пальцах заточенное гусиное перо с засыхающими чернилами, чаще всего пустой нотный лист остужал мой пыл своей пугающе снежной, холодной белизной, и пустые линии нотоносцев казались гольми, замёрзшими грядами, на которых ничего уж сегодня не взойдёт, бесполезно; я малодушно дожидался окончания мною же установленного срока, и под конец, закрывая клавесин и пустые ноты, вздыхал с неким даже

облегчением, с чувством отчасти исполненного долга: ну не получилось сегодня, бывает, но я ж пытался, повезёт в другой раз.

Однако и в другой раз мне не особо везло, так, россыпь звуков, и я всё чаще задумывался: а как же это выходит у господина капельмейстера, у Антонио Сальери? Сальери оставался для меня гучей загадкой, не дающей покоя, хотелось хоть чуть приблизиться к ней.

Несколько раз вечером я незаметно подходил к дому четы Сальери, всматривался, прислушивался. Оттуда доносились шум, мелкий топот, беготня, детские визги, смех, падения, рёв, хныкание, треньканье-бреньканье на фортепиано, плач младенца, снисходительно насмешливый голос Сальери и строгий женский окрик, наверно, жены, потом после некоторой паузы всё повторялось, и так до тех пор, пока окна по очереди не гасли, и всё не стихало. Но никакой серьёзной музыки не звучало, да и можно ли сочинять её в таком гвалте?

Однако я знал, что Сальери чаще всего не приезжает, а пешком приходит в оперу, причём раньше других, — так, может быть, он сочинял музыку по утрам, в своём кабинете капельмейстера?

В один денёк, когда на репетицию мне нужно было явиться после полудня, я ни свет ни заря караулил около их дома и, наконец, двери отворились, Сальери на пороге поцеловал дородную женщину и, сопровождаемый её крестным знамением, бодро отправился в путь; я — следом, на приличном расстоянии, закрывал лицо, придерживая, будто бы от ветра, шляпу, хотя ветра почти и не было, так, лёгкие дуновения. Бойким шагом Сальери пошёл по каменному мосту, с удовольствием щурясь на солнечное голубое небо в редких розовых облачках, пробегался игривыми пальцами по каменным перилам, а заметив чьё-то приветствие, в ответ кивал, улыбался и уважительно касался полей своей кожаной шляпы. Маэстро явно был в хорошем настроении. Далее к театру можно было пройти вполне коротким и приятным путём: по набережной со скамеечками, по аллее, а там уж и рукой подать. Но Сальери, попетляв, — и я чуть не потерял его из виду, — свернул вдруг на не знакомую мне улочку с удушливой смесью всевозможных и не самых лучших запахов.

Странный маршрут. Говаривали, каждое воскресенье Сальери ходит в церковь, с детьми, с домочадцами, и разумеется, с драгоценной своей супругой, — но как знать, может, у него есть тайная пассия, и она обитает где-нибудь тут? И почему тогда ему не навестить с утречка предмет своего истинного вдохновения?

Разветвляясь сомнительными закутками — закоулками, в гору поднималась мощеная дорога; по ней, натужно процокал впряжённый в повозку с мучными кулями приземистый буланый конь, мотая лохматой головой, мочась и роняя дымные навозные комья, и понятно, почему от мостовой исходил, отвратный душок: всё, что вываливалось, выплёскивалось или высыпалось на неё, застревало и застывало меж разбитых камней, не смоят никакие дожди. Но для прохожих всё это было привычным. Я обошёл двух женщин, которые живо что-то обсуждали: у одной в корзине стояли горшки с цветами и лежали маленькие мешочки, в корзинке у другой, под тканью, как под навесом, попискивали и копошились то ли щенки, то ли котята, через прутья не разглядеть. И что это значит? А значит, неподалёку или рынок, или хотя бы торговые ряды.

Но наверно я зря расслабился. Из-за щербатого каменного угла высунулась краснолицая баба в чепце, мельком, воровато огляделась и выплеснула из полной бадьи помой. Отчасти эта мерзкая жижа долетела до желоба водостока, но часть стремительно потекла по тротуару, по брусчатке, и мне пришлось спясать на месте, чтобы зловонные струи не задели, не загадили моих туфель. И сразу стало понятно, почему Сальери, упрощая мне слезку, предпочитал идти по бровке, по краешку, ближе к дороге — наверно, уже познакомился с сюрпризами пахучей улочки.

Ругая чертову бабу и брезгливо вытирая подошвы о камни, я вдруг испугался и отвернул лицо: а если капельмейстер обернется на мою брань и узнает меня — как объясню, что оказался на одной с ним и не самой привлекательной улице, да ещё в столь раннее время, ведь моя репетиция по распасию после обеда? Но тут же вспомнил о корзинках женщин: кто-то ж мог посоветовать мне зайти сюда, скажем, за цветочными семенами? Чем не повод?

Правда, именно в эти мгновения самому Сальери могло всерьёз не повезти: прямо на него, не уступая никому дорогу, нагло расталкивая всех, шёл угрюмый парень, может, студент с похмелья после ночной пирушки, или просто озлобленный человек. Зацепи он плечом маэстро, и тот бы улетел под колёса проезжавшей пролётки, и конец бы прогулке, а, может, и не только прогулке. Но господин капельмейстер ловко увернулся, даже сам извинился, на всякий случай, услужливость-то в крови, и, лавируя между прохожими, подошёл вплотную к приземистому, куцему дому, снизу которого поднимался, набухая, мутный пар с привкусом палёного пера и ещё какой-то дряни. Я издалека чувствовал этот очередной, малоприятный запах, а Сальери — нет, нисколько! Улыбаясь и произнеся скороговоркой что-то по-итальянски, он помахал кому-то внизу и, пройдя немного, опять приветствовал людей в подвале. Я тоже заглянул туда, через открытые фрамуги: толстый и черняво-волосатый мужчина в засаленном фартуке, блестя потом, разделявал тесаком птичьи тушки, подросток позади затачивал нож на мерзко визжащем наждачном круге, в соседнем подвале женщины подливали шипящее масло на раскалённые противни, что-то обжаривали. Не хотел бы я тут задерживаться, да и дальше — картинки явно не для эстетов: в углу одного двора — целые вороха птичьих перьев, из другой подворотни несёт сырым запахом почищенной рыбы и чешуи, шарахаются, мяукают кошки в жажде урвать рыбьих потрохов — и возле всего этого с удовольствием, по-свойски, будто сам на минутку вышел из одной подобной лавчонки или подворотни, прогуливался наш овеванный славой господин королевский капельмейстер. Дело было ни в какой ни в пассиве, не в амурных делах: просто сын лавочника, словно рыба, с наслаждением погружался в родную стихию, в своё торгашеское детство.

Заглянув на перекрёстке в лавку с жестяным кренделем на цепях, маэстро вышел совершенно довольный, с аппетитом принохиваясь к пакетам, которые бережно держал в руках; но, собираясь перейти на другую сторону, вдруг замешкался, застыл у бордюра, словно передумал, и проезжавший извозчик, осадив коней, вежливо показал рассеянному господину кнутом на дорогу. На другой стороне улицы Сальери побрёл в одном направлении, развернулся, пошёл назад сонными шагами, как сомнамбула, глядя в землю и бубня извинения встречным прохожими, хотя никого из них не задел. Пройдя так довольно долго, он встрепенулся, осмотрелся и уже решительно повернул в сторону оперного театра.

«Неужели? — забыв о скрытности и смотря на Сальери, поразился я. — Неужели он вот только что сочинял музыку?» Да, без сомнения. Не в уединённом кабинете с бюстами и портретами гениев, не в окружении чутких музыкальных инструментов, готовых отозваться даже на твоё дыхание, не даже на подоконнике оперы, всё-таки храма искусств, а на зачуханной, вонючей улочке со сливным желобом, с дымящимся конским навозом, с запахами, которые хочется миновать, зажав нос, с грохотом телег, с шипеньем масла на противнях и вжиканьем о наждачный круг кухонных ножей... И вот всё это, пошлое, примитивное, грубое, — неужели это его вдохновляло? Сальери, чью музыку ждали с нетерпением и в Мюнхене, и в Праге, и в Париже, и в далёком ледяном Петербурге — мог сочинять вот так, не знамо где?

Получается, да.

Бог мой, Господь милосердный, как не возроптать... Неужто Ты, Господи, играл от скуки в орлянку, подбрасывал вертявую монетку, смо-

трел: орёл-решка? — и дарил удачу, божественный дар, гений не достойному, не тому, кто безропотно несёт по жизни крест свой во имя высокого и святого искусства, а так, мимоходом, случайному замарашке из мясной лавки? Я не мог прийти в себя, это было выше моего понимания, поверьте, нет худшей несправедливости на свете.

Возвращался я назад, домой, в полной растерянности, не укладывалось в голове. Скольких мучений, скольких трудов, титанических просто, стоило мне творчество, и теперь, и в детстве, а Сальери сочинял вот так, прогуливаясь мимо почти помоек и всякой дряни? Кому сказать, не поверят. А, кстати, с беспокойством подумалось мне, куда запропастился мой первый отпечатанный сборник, тот, детский? Тогда я сохранил все экземпляры, не выбросил, не пожертвовал ни одним, даже ради экономии места. Но потом больше не попадались, подозрительно. Всё ж-таки память... Посмотрел в одном месте, в другом — не видать. Неужели выкинул, не предупредив, рассерженный отец? С него станется, и не спросит... Но к счастью, всё нашлось, все экземпляры, — наверно, переложил кто-то из женщин, прибираясь в доме. Открываю один экземпляр на произвольной странице. Подумал: теперь-то, с умудрённым, взрослым взглядом легко устраню все роковые изъяны моего первого музыкального сборника, — и не сумел даже начать: волнение из ранней юности, когда с надеждой держал своё творение в руках, снова настигло, всколыхнуло меня, не мог сосредоточиться, хладнокровие изменило мне. А интересно, что бы тут сотворил господин Сальери? В конце концов, это обязанность капельмейстера — помогать музыкантам по различным вопросам музыки. И у меня как раз такой вопрос и возник.

И со своим первым сборником, не особо соображая, чего хочу на самом деле, я отправился в театр, к Сальери.

Из кабинета капельмейстера вышла пожилая служанка, вынося на подносе посуду после обеда, и я, постучав, зашёл к маэстро, который, сидя за столом, принимался за третьи блюда. Перед ним была тарелочка с разными пирожными: Сальери слыл тем ещё сладкожкой.

— Маэстро, вы не посмотрите мои давние ноты? — спросил я, представляя, как выглядел сейчас со стороны: так беспомощный ребёнок обращается к взрослому, прося починить игрушку. Конечно, Сальери видел моё смущение, а, возможно, ему было хоть немного да совестно за тот мой провал: с его же согласия исполнялась моя музыка, он лично разрешил её исполнение, — поэтому и откликнулся сейчас вполне радушно. Увидев год издания сборника и угадав, что я был тогда совсем молод, даже юн, он с легким удивлением приподнял бровь, спросил: «И не жалко?»

Вопрос был странным и явно лишним, почти риторическим, — раз принёс, значит решено, и мне оставалось только с шутливой обречённостью развести руками. Сальери сказал, что да, посмотрит прямо сейчас, но с условием: если я соглашусь на его правку и разделю с ним хотя бы десерт. И я согласился. Налив чаю, положил себе на блюдце маленькое пирожное в форме грецкого ореха и несколько кружков лимона, но ничто не шло мне в горло, — ну не есть же, в конце концов, я пришёл в кабинет к капельмейстеру! Не решаясь даже помешать ложечкой чай, я ждал приговора настоящего знатока... Была ещё крохотная, малюсенькая, мизерная, но надежда: а вдруг Сальери, зрящий высоко, оценит в моих творениях, то, что не разглядели другие, смертные, и понимающе, одобрительно кивнёт. Хотя всем было известно о скупости Сальери на похвалу. Достав из пенала редкие на ту пору деревянные карандаши, один со свинцовым стержнем, другой с рыжим, он расположил их справа — и теперь мой беззащитный сборник ждал своей участи. Сальери не спеша пролистал его, без малейших эмоций, с неподвижной полуулыбкой, словно переворачивал в харчевне кусок поданного жареного мяса, не пригорело ли где; потом осторожно, чтобы не выдавить крем, откусил

от пирожной трубочки и, держа у губ чашечку с ароматным кофе, стал править моё творение. Я хотел сказать ему, что, наверно, трудно сразу делать два дела, и пить кофе, и что-то править, и он бы понял язвительность моего тона, но я не мог произнести ни слова, я только молча глядел, как вертя в пальцах, словно жонглёр, оба карандаша, Сальери быстро, почти не задумываясь, зачёркивает рыжим цветом, крест накрест, десятки тактов, а серым добавляет ноты, аккорды или переносит их стрелками в другую часть, меняя и мелодии, и акценты, покрывая страницу за страницей жестокими язвами. Я оцепенел, онемел, я был парализован, как при виде жестокой расправы.

И только сейчас дошёл до меня смысл вопроса «И не жалко?» Первые сочинения — это, наверно, как наивная первая любовь. Или сохранный на память детский рисунок: есть ли смысл переоценивать их взрослым взглядом? Думаю, сам капельмейстер когда-то испытывал подобные сомнения, однако теперь, получив от меня добро, уже не проявил ни малейшего сочувствия или снисхождения к чужой музыке.

Закончив казнь моих давних сочинений, Сальери поднял на меня удивлённый взгляд — и я увидел, как вдруг, в одно мгновение, искастлось, скривилось его лицо. «Вы что, вы как...», — пробормотал он с брезгливым ужасом. Вначале я не понял, но оказывается, я совершенно неосознанно сгибал наощупь кружки лимона, жевал их сердёдку, не ощущая ни малейшего вкуса, и теперь пустые жёлтые колёсики горькой лежали на блюде. Настолько потрясло меня увиденное, глумление над моими нотами.

Единственное, что я мог жалобным, дрогнувшим голосом возразить: «Но, маэстро, вот эта песня, она же была написана на стихи, как без стихов?» «Да оставьте так, — был ответ Сальери, — будет лучше, вот увидите.» Он даже не сомневался!

А ведь, если покопаться в себе, меня, скорее всего, мало интересовали собственные юношеские ноты, дело же прошлое. Мне хотелось посмотреть, что умеет, а точнее, что не умеет господин Сальери в будничной обстановке, без его пресловутого вдохновения, которое он, как болезнь, подхватывает на сомнительных улочках. Правда ли он чувствует гармонию, даже знает ключ к ней? Чего уж там, я готовил ему каверзу и втайне, неосознанно надеялся, что, сославшись на занятость, капельмейстер вежливо, в своей любезной манере, но откажется даже смотреть. А вышло иначе. И теперь мне надо быть последовательным, узнать цену правок от Сальери, а как? Обыкновенно, как: переиздать, а значит ещё потратиться, при тощем-то моём кошельке. Глупая ситуация, глупейшая, сам же напросился, вот сдались мне эти ноты!

Переписав, отпечатав в типографии и отдав в магазин исправленное, я, вопреки здравому смыслу, страстно желал себе неудачи, желал, чтоб ноты, пусть и мои и на мои деньги снова напечатанные, но правленные небрежной рукой попивающего кофеёк Сальери, потерпели полный крах. Однако вышло всё наоборот. Обновлённые ноты с моим именем расхватали за пару дней, меломаны записывались в очередь; тираж увеличили и, хоть цена заметно возросла, покупали ещё недели три. Я был и рад, и растерян: как-никак, первый мой настоящий композиторский успех. От отца событие не ускользнуло. Но поскольку в разговорах со мной он был предельно лаконичен, то и я ответил отцу тем же: не стал объяснять, что вдруг произошло с нотами. А Сальери даже не полюбоществовал, для него всё это было мелочь, словно учителю исправить ошибки школяра. Обидно, но так.

Однако, значит, в моих композициях была всё-таки искра таланта, даже гения, была! Просто я не умел её разжечь, это умел другой, увидеть и превратить блеклый огонёк в яркое пламя, а я нет, я был слишком осторожен, слишком почтителен к Музе, но она, я уж успел убедиться, предпочитает дерзких, неколеблящихся, как маэстро.

А, может, Сальери и прав, слыша музыку даже в прозе жизни? Взять те же скрипичные струны, — из чего сделаны, из чего свиты и тянуты? И подумать мерзко, не то что произносить, из какого непотребства — из очищенных от слизи, от гнили и прочей дряни совершенно примитивных, оскорбительно вульгарных, препохабнейших овечьих кишок. Но звучат-то волшебным, как райские птицы, упоительно! И музыка — тоже везде?

Та нервная слезка за Сальери, должен признать, подхлестнув, научила меня кое-чему, крайне важному: не жди уютной обстановки, комфорта, сочиняй, где доведётся, шанс всегда есть. Даже в кругу приятелей, в прокуренном погребе, если за соседним столом раздавался прелюбопытный звук, скажем, необычный звон бокалов или посуды, я внутренне настораживался, как охотничий пёс, готовый принять стойку, едва заслышит голос непонятной пока, диковинной птицы; всё во мне откликалось на этот звон, я замирал, выпадал из разговора, вызывая недоумение или даже обиду приятелей, а я всего-то лишь мысленно уже раскладывал услышанный звон на звуки, на ноты, с моим идеальным слухом это было легко, и только запомнив или записав услышанные ноты в блокнот, а то и на салфетку, немного успокаивался. Но возвращаясь домой, в мыслях я пробегал по этим загадочно прозвучавшим, будто подсказка свыше, с небес, случайным нотам, рассыпал их веером, словно звонкие серебряные шарики по хрустальным ступенькам, играл этими звуками, их сочетаниями, продолжая поиск мелодии, как Сальери там, на своей замызганной, зачуханной улочке, — а вдруг прямо сейчас, словно выпорхнув из-под ног, родится моя изумительная мелодия и, облетев всю Вену, вернётся ко мне со славой?

Дома прозвучавшее в голове я с чувством, выразительно наигрывал, поспешно вносил в ноты и вроде бы что-то интересное действительно проявлялось, прорезалось, но, наверно, я всё-таки слишком рано доверялся надежде. Так нетерпеливый скульптор, вытесав из мрамора только заготовку, лишь контур, лишь прообраз, уже воспламеняется и ликует, ещё не приступив к деталям, к шлифовке, а на эту шлифовку сил-то уже и не осталось, перегорел чувствами раньше времени, и не то чтоб азарт иссяк, а даже и интерес пропал, и уже найденное кажется обманной ерундой. С досады я комкал нотный лист, сжимал его со всей силы, сжимал так, будто душил нечто живое, но неумолимое, жестокое, предательски равнодушное ко мне, — и взъерошенный, ребристый комок испуганно летел в мусорную корзину, подлая бумага... В творчестве хватает и разочарований, и унижения от собственного бессилия. Кто сам творил, со мною согласится. И вот, казалось бы, всего-то: комбинируй звуки так и эдак, меняй длительности, паузы, и прислушивайся, вылавливай, чистенькая работа, всем на зависть. А уставал — не меньше, чем скульптор, обтесав мраморную глыбу, да даже не меньше, чем каменотёс, прорубив киркой скальную породу, уставал настолько, что после сочинения лежал на кровати пластом и только потом приходил в себя. Дальше было ещё унижительнее: я лез в урну или под стол за сканочными нотами, разворачивал, старательно разглаживал, словно загадочный манускрипт, чтоб расшифровать его позднее, когда будет новое вдохновение, и бережно укладывал в папку: вдруг настроение вернётся и в моей записи обнаружится нечто драгоценное или даже бесценное?

Именно так даётся или ускользает музыка, если кто не знает. А когда из подобных фрагментов удавалось всё же что-то склеить, — я, уже по сомнительной привычке, отправлялся вначале не в типографию, а к маэстро Сальери.

И впал в зависимость от господина капельмейстера, как становятся зависимыми от вина или табака; выглядывал, словно воришка, из-за угла коридора, дожидаясь, когда иссякнет очередь к его кабинету, чтобы осторожно, с почтением постучаться и попросить «посмотреть» моё новое. Сальери, — надо отдать ему должное, буду справедлив, — всегда согласно кивал головой, предлагал оставить или, если не ждал других по-

сетителей, правил при мне, но никогда не отказывал. Однажды, переминаясь от неловкости, я пробормотал, что хотел бы как-то компенсировать его драгоценное время, он же не обязан тратить его просто так? И мне на самом деле было бы проще, если б наши отношения, оставаясь не афишированными, носили бы деловой характер. Но господин капельмейстер непринуждённо отказался, сказав, что ему, как композитору и музыканту, и самому весьма полезно именно так оттачивать профессиональный взгляд, иначе рутина его совсем усыпит. Потомок торговца отказывался от денег! Досадно вышло, и глупо... Будто я собирался нанять чужой талант, не имея достаточного своего. Хорошо, что никто этого не видел.

Случалось, сочинённому мной не хватало буквально пустяка, штриха, лёгкого направления, я только не мог угадать, какого именно, но от непринуждённого прикосновения Сальери моя музыка ни с того ни с сего оживала, дышала, наполнялась страстью, и я мысленно ругал себя распоследними словами: то, что дополнял он, витало же в воздухе, было же совершенно очевидно, даже слепому и глухому, а я, дурень, оряси́на, проморгал, а ведь мог бы обойтись и без господина капельмейстера! И так каждый раз.

Просматривая мои сочинения при мне, Сальери, возможно, ради приличия, чтобы избежать невежливого молчания, а может, и не только поэтому, задавал мне, между прочим, вполне невинные вопросы: скажем, починил ли такой-то виолончелист замок на стареньком футляре, или тот по-прежнему открывается некстати? И я говорил, что да, починил, говорил и про этого музыканта, и про других, вспоминал подробности их жизни, не самые лучшие, а как раз те, которые любому хотелось бы забыть, замять, пересказывал и сплетни. Моя неоплаченная благодарность уже цепью, что тяжелее кандалов, связывала меня с господином капельмейстером, может, поэтому я невольно и добровольно наушничал, хотя никто не тянул меня за язык, а может, я, не склонный к болтовне, просто хотел выговориться или, говоря о грешках других, как бы каялся сам, желая оправдаться в подобных собственных грехах, нынешних или будущих, пока не совершённых? Не знаю...

А Сальери... Сальери, не перебивая, возможно, и не слушал, он был сосредоточен. Отталкиваясь от моих нот, как от берега, он, мне казалось, сочиняет мою музыку заново. Так мастер кисти, который по несмелым контурам, по робким подготовительным начертаниям учеников, уверенно прописывает, завершает всё живописное полотно. Я же зачем-то всё говорил, говорил и в эти мгновенья презирал, ненавидел себя, хотя унижался исключительно ради искусства.

Вместе с тем не покидало чувство, что у маэстро капельмейстера нет доверия ко мне, он угадывает мою неприязнь и потому держит на дистанции. И думаю ещё, остальные музыканты понимали, какая музыка абсолютно моя, а какая исправлена господином капельмейстером. Они ведь тоже прибегают к его помощи.

А может, и правда, он ведал тайну гармонии: иезуиты, отняв её под пыткой у других, передали ему? Я уже не знал, что и думать... Моё отношение к Сальери? Отвечу вопросом на вопрос. Разве мы испытывает хоть малейшую симпатию к тому, перед кем, пусть и добровольно, гнёмся попрошайкой?

Один из моих приятелей, — ну тот, который хотел стать поэтом и ещё кем-то там, — в кабаке, наедине со мной, вдруг разнюнился, утираясь пьяными слезами, ударился в откровения, каялся: была у него бездна дарований, — и не сомневался, все они однажды проявятся, разом, как салют во всё небо, как букет расчудесный. Но не мог он держать себя в кандалах дисциплины, ну не мог, это выше всяких сил, откладывал на потом, хотелось просто жить и он жил, и вот, молодость уходит, как

сквозь пальцы, уже и плешины есть, начёс прикрывает, — и ничего в итоге, как вон и у пьянчужек вокруг, серость одна, и так стыдно, обидно за глупую, бездарную жизнь, никому не понять!

«А что ты хотел? — неприязненно молчал я, слушая его нытьё. — Мечты без воли — ядовитое вино, горше укуса, прописная же истина. Теперь вот всхлипывай, как баба.» Но говорил ему: не всё потеряно, время ещё есть. А сам думал: а я, я? Он-то хоть пожил в удовольствие, по своему хотению, и в ус не дул, может, и правильно делал, не заморачивался... А я, пожертвовав многим с самого детства, дойду ль, доберусь ли до своего Олимпа, не рухну ли обессиленный?

Да ещё и расшаркиванья перед Сальери уже в привычку входят, дурная привычка...

Но вот прокатился слух: хоть и с временным контрактом в Придворный оперный театр принимают не кого-нибудь, а самого Моцарта, Вольфганга Амадея. Новость посильнее грома для всех, и наверно, и для Сальери: подвинуться ж придётся, если вообще не уступить своё звание! Да, верно, Сальери был сама скромность, восторги в свой адрес обращал в шутку, с музыкантами на равной ноге, душка, — а что ему кичиться, если все и так знали: под скромностью на его плечах — мантия славы, во всём мире известен да признан, и на сценах, и в академиях. А вот поглядим, маэстро Сальери, думал я, как вы заёрзаете, когда столкнётесь нос к носу с возмужалым вундеркиндом. У меня не было сомнений: никто в музыке не устоит против Моцарта, и Сальери, как и я, наконец, тоже изведает жгучую горечь, признав неодолимое превосходство другого, — и да будет так, и скорее бы!

Моцарт уже давал концерты в Вене, в разных театрах, я знал, но не ходил, страстно хотел и боялся, боялся его услышать, боялся, не смогу после этого играть, сочинять, вообще жить, разве что в лечебнице. Посудите сами: в пять лет он изумлял профессионалов, в десять давал концерты монаршим особам, властелинам мира, выступал в дворцовых залах, окружённый их высочествами и аристократией, и с таким темпом какой же невероятной высоты достиг он теперь? Страшно представить. Не знал я даже, и как выглядит Моцарт. По портретам в журналах и газетных листках — его отца, Леопольда, с въедливым взглядом неумолимого праведника, — узнал бы хоть на тёмной улице, но самого Вольфганга — нет. Его изображали совершенно по-разному: на одних картинках — утончённые, прозрачные черты сказочного эльфа со взором, устремлённым вдаль, к высшему свету, на других — жеманные губки бантиком, женственный, как эверати, а ещё был округлый лицом, с грушевидным, широким внизу, носом — наверно, как намёк на австрийскую основательность. И когда, наконец, Моцарт появился перед нами воочию, я мог сам сравнить, но находил лишь частичное сходство с разными его портретами и понимал, почему художники оказывались неточны в изображении Вольфганга: его лицо было столь же переменчиво, как и настроение.

Как полагается, Моцарта должны были официально представить. Наверно, одну эту мысль он воспринял как оскорбление: прежде его действительно представляли — давно, когда он пешком под стол ходил, — и представляли его всяким-разным Их Величествам и Их Высочествам, но чтобы обычным музыкантам... Бред же, разве Короля Солнце представляют его подданным?

Сам толкнув перед собой двери, нарумяненный, в небесно-голубом камзоле, с массивным прозрачно-гранёным камнем на кружевном жабо, Моцарт шагнул в залу — и вуаля, вот он, я! — победно раскинул руки, и сразу наступила тишина; как и мне, музыкантам ведь тоже с детства проели печёнку этим волшебным мальчиком, — а тут он, взрослый, пред всеми во плоти, естественно, у мужчин ступор, почтительное замешательство. Ну а дамы... Их возгласы восклицания, обожание и раболепное

восхищение, наверно, стали Моцарту ценнее фанфар и салютов. Семьянцами шажками к Вольфгангу подплыла дородная прима, колоратурное сопрано, — злые языки предрекали ей скорый закат на сцене, — и картинно, как античная статуя, воздев полную руку к небесам, запела хвалебную песнь виновнику торжества. В каждой строчке, изнемогая от томления, она выводила переливчатым голоском упоительное «О, Моцарт, ооо!», и тот, растроганный, увидев в свободной руке певицы ноты, увлёк оперную диву к клавесину, сходу стал аккомпанировать. Сопровождал Моцарт с листа, скажу без преувеличения, бесподобно, я такого не видел: казалось, и его глаза, и пальцы, и ноты перед ним были одно целое, словно он заранее выучил партию наизусть или предугадывал её, и при этом он заодно успевал, приплясывая игривыми бровями, весело поглядывать на взволнованный бюст певицы, и если бы художник изобразил Моцарта именно в этот момент, ручаюсь, появился бы ещё один оригинальный портрет Вольфганга Амадея, не портрет, а конфетка.

Осмелев, подтянулись и другие певицы, Моцарт вскочил, дирижировал стоя, и хор, послушный рукам маэстро, звучал а *cappella* объёмно, густо, сочно, замечательно, загляденье! Но, но, — а с Вольфи всегда случалось это «но», — идилию нечаянно, сдуру нарушил замороченный своими обязанностями администратор. Шмыгнув в зал и извинительно качнув головой, он стал нашёптывать одному музыканту что-то насчёт расписания на завтра, о перестановках. Бедолага не догадывался, что у Моцарта идеален не только музыкальный слух, но и обычный.

Продолжая энергично дирижировать, Вольфганг как бы между прочим прокричал напевно, словно оперную фразу, в их сторону: «Я попросил бы посторонних идиотов захлопнуть рот и двери заодно!» На припухлом лице Моцарта из-под грима прорезались глубокие складки, они стекали от расширенных нервных ноздрей к обиженно капризным уголкам чувственных губ. А ведь тоже, кстати, любопытный портретец.

Непочтительных говорунов как ветром сдуло, но Моцарт уже взвился, с его уст полетела отборная брань, достойная портовых грузчиков, а в пафосной концовке, впадая ли в буйство или демонстрируя отношение к исполняемой музыке, теми же руками, какими только что изычно, воздушно изображалось движение мелодии, — маэстро, не стесняясь дам, вдруг показал совершенно непристойный жест, с согнутой в локте рукой и сжатым кулаком, присовокупил похабное словцо и залился счастливым колокольчиком, довольный своей выходкой.

Никто, даже из стариков, — никто! — не посмел сделать ему хоть осторожное замечание, и сразу стало очевидным, кому здесь позволено всё.

Таким было сходжение живого бога.

Подобные непотребные выходки Моцарта стали темой для пересудов и шушуканий, одни говорили, что он просто не успел получить подобающего воспитания, с юных лет, с младых ногтей сплошь репетиции, переезды и концерты; другие твердили, что у Вольфганга случилась родовая травма, ну или черепно-мозговая, поскользнулся в детстве на дворцовом мраморном полу, всякое болтали. Некоторые поговаривали не без злорадства: ранняя слава — к беде, однажды обязательно ужалит. А я думал, слушая подобную говорильню: радуйтесь, смертные, изъянам Моцарта, это кость вам в утешение, маленькая компенсация от гения за то, что вы — не он и никогда им не станете. Гений всегда ярок, и творениями, и слухами, и скандалами, это пища бога, воздух, амброзия, без которой он умрёт. Слишком долго ему приходилось быть пай-мальчиком перед высокородными особами, так разве среди всех иных, нетитулованных, он не вправе выпустить пар? Я один понимал Моцарта, а значит, был ближе к нему всех остальных, прочих, это нас сближало. Мой идол, злой гений, тиран моего детства, чьим именем пытал меня отец, оказался с изъяном, алмаз с трещинкой, и мне это в нём импонировало. Хоть в чём-то важном для цивилизованного человека, в воспитании, в манерах, в деликатности я всё же превосходил его.

Дамы умолили Моцарта сыграть что-нибудь новое, последнее: думали, уж что сейчас выдаст, сказочное! Сыграл, большие куски. Бравурно, выразительно, миленько, — и ничуть не удивил, такое в Венской опере сочиняют частенько. Тогда у меня zakралось сомнение, вернее, надежда: а вдруг хвалёный вундеркинд Вольфи — всё, тютю, спёкся, осыпался гербарием, у вундеркиндов ведь это сплошь и рядом? Разве в Вене других вундеркиндов не водилось? Один мальчик, к примеру, считал в уме всё подряд, толпа ахала, сверяясь по шпаргалкам, родители гениуса билеты на него пачками продавали, — но где ж он теперь, тот киндер-вундер? Выдохся, нету, тянет, говорят, лямку рядовым клерком в меняльной конторе, чужие деньги быстрее всех считает... Была ещё, помню, девушка-змея в цирке шапито, глазам не поверишь, как изгибалась, в корзину укладывалась, вот в такую, не больше, мужики в пивных только о ней и судачили, фантазировали о разных иных её возможностях. В итоге вышла замуж за проезжего коммерсанта. И что в ней осталось от змеи? Наверно, только характер.

А Моцарт? Спору нет, магия его имени жила, маленький чародей с детской наивностью покорял королевские дворы, да ещё какие, это не забудется. Но теперь нет, не заискрил. Или причина была в другом? Не исключено. Возможно, демонстрируя нам не самое своё лучшее, Вольфганг боялся воровства. Это спереть кошелёк опасно, поймают — и в цугундер, в узилище, а интересную музыку своровать — дело плёвое. Один, от избытка чувств, сыграл на радостях, похвастался перед знакомыми новым своим творением, другой запомнил, тиснул первым в типографии, в нотах, и всё, и слава вору! Сколько было этих скандалов, аж с драками, на судах парики во все стороны летели, один обвинял другого в воровстве мелодии — а докажи! А бывало и ещё проще: заказывал вельможа музыку у композитора, платил деньги, порой сущую мелочь, видя, что автор в нужде, а раз заплатил — так он теперь вроде как полный хозяин чужого творения, своё имя ставит, перед гостями покрасоваться. Может быть, Моцарт и опасался подобного, и своё лучшее придерживал до поры, — уловка мастера, уже познавшего изнанку жизни? В общем, в первый тот день своими сочиненьями взрослый мальчик-легенда не блеснул.

Всем было интересно и другое: как два именитых музыканта среагируют друг на друга? Проходя мимо или останавливаясь возле Сальери, Моцарт, будучи крупнее, приосанивался, демонстрируя даже внешнее своё превосходство, свою величавость перед соперником, однако Сальери это, похоже, нисколько не смущало и не беспокоило: он был, как всегда, вежлив, любезная улыбка не изменяла ему, — что ещё нужно для гармонии с окружающим миром? Если главное — музыка?

А музыка в Вене сочинялась всегда, непрерывно, хотя любимые творения повторялись многократно. Однако если бы — только предположим! — если бы однажды была бы вдруг сочинена — и об этом бы оповестили всех и все бы согласились, — самая лучшая, самая совершенная музыка на свете, на все времена, вот такое-эдакое чудо, — думаю, недельку, другую наша публика повосхищалась бы, а потом стала бы и зевать. Нам всегда подавай новенькое, и это новенькое в Венском театре и для него сочиняли постоянно, было кому творить и сиять. Правда, случается, блики тоже похожи на сияние, а надо посмотреть чуть со стороны. И музыкальных графоманов всегда в достатке, крапают без устали, плодovиты, как кролики, кипами сочиняют. А куда девается вся их музыка, музыкальный мусор, едва прозвучит на пробу, усыпляя слушателей? Да какая разница, да никуда, в пыль, в архив к тараканам, зато гонору-то, гонору, что ты, на золотой козе не подъедешь! У другого музыка мелизмами нашпигована, украшеньями безотказными, трелей в сочинениях — будто канарейки на ушах сидят, старые фокусы.

Есть и такие, кто сочинил в давние времена пару мелодиек, вроде бы

симпатичных, был такой подвиг, сподобился, и с тех пор будто б в вечном поиске, вот-вот поразит новым откровением; и устраивает встречи-посиделки с поклонницами, чаще за их же счёт, вспоминает всякую чепуху, вроде какой-то незнакомой дамы, она будто б каждый вечер присылала ему корзину чайных роз, пока цветы эти вдруг не прекратились, это дамочка сама увяла как цветок, а проще, дуба дааа. И вот он кормит доверчивых дурёх самозабвенными байками о своей драгоценной жизни, пыжится, перья распускает, надувается пузырьрём, весь из себя, болтает про какое-то там своё творчество, хотя уже забыл давно, а может, и не знал никогда, что такое вдохновение.

Умеют некоторые устраиваться в жизни. А ответ простой: наверняка есть вельможный покровитель, удобно ж иметь ручного музыканта, кичиться им, как собачонкой домашней. Шли бы в коммерцию, а не в музыку! Отец мой весьма ценил и уважал положение в обществе, но этих, залезших на безопасный бугорок с кормушкой, где можно отъедаться, не напрягаясь, без труда, — на этих напыщенных музыкальных гномов, на этих блямблямчиков-труляляшечек и он смотрел бы с пренебрежением, и я бы согласился с отцом. Мне такого успеха и даром не хотелось, моя слава, я не сомневался, будет достойной и надёжной.

Но хватало в Венской опере и серьёзных, даже именитых композиторов, собственных или ангажированных, гастрольных, приезжих, которые проявляли себя в театре, однако Моцарт — повторяюсь, — далеко не всегда выделялся и блистал на их фоне. Нет, не подумайте, я не намекаю, что у Вольфганга бывали музыкальные сбросы, эдакая подёнщина, спустя рукава, лишь бы заполнить паузы, протянуть время, — в любом случае даже не особо яркие его куски были проработаны мастерски, добротнo, со знанием дела, и в проходных его композициях обязательно всё-таки попадались драгоценные крупички, как бы алмазные зёрнышки. Однако его написанный во вполне зрелом возрасте, слегка подправленный и заново исполненный «Идомей, царь критский», пусть и не без любопытных импровизаций и некоторых находок, показался мне протяжённо скучным, эту оперу слушает музыкант, из профессионального интереса, но слушатель обычный, из толпы, ждущий от музыки в театре наслаждения или дерзновенной страсти, точно не пойдёт во второй раз, — если вообще досидит до конца первый. Не стану спорить, Моцарт искал свой язык, почерк, но вершиной это не было.

То есть, откровенно говоря, тогда музыка Моцарта, — по крайней мере, меня, да и не только меня, — не очень впечатляла, серединка на половинку. Хотя возможно, это тоже допускаю, была ещё одна причина его творческой скромности: своё лучшее Вольфганг демонстрировал во-все не в оперном театре. Я вот о чём. Когда на пирушках случайно заговорили, среди прочего, разговор о вольных каменщиках — а таковые имелись в Вене, — Моцарт, даже пьяненький, напускал на себя загадочный, важный вид и ещё долго пребывал в этом образе; говорили шёпотом, что он состоял в масонской ложе, но на все подобные вопросы Вольфганг отвечал уклончиво или многозначительно помалкивал, давая понять: простым смертным лишнего знать не положено. Однако, не в характере Вольфи было подолгу серьёзничать, его удавалось разговорить: оказалось, Моцарт не только исполняет таинственные обряды в ложе, но ещё и сочиняет особенную музыку для вольных каменщиков. Какую? Ну уж нет, этого он не раскроет даже под страхом пытки или смерти, и так уж сказал слишком много: эта лучшая его музыка, он был бы рад, чтобы она звучала для публики, — но слушать её позволено лишь избранному кругу посвящённых, он дал священную клятву, а он не из тех, кто бросается словами, все это прекрасно знают, и в таком же духе.

А кроме того, что-то из вновь сочинённого Вольфганг исполнял не на родине, не в Австрии, а за границей, куда он с разрешения Венской

оперы и, разумеется, в компании со строгим папашей Леопольдом, частенько отбывал давать концерты. Старший Моцарт не оставлял младшего без присмотра, удерживал его от чересчур необдуманных, экстравагантных поступков, оберегая тем самым, насколько это возможно, репутацию Вольфи. Старик Леопольд мечтал и жил навязчивой идеей о реванше для сына да — и чего уж обманываться, — и для себя самого: он, Леопольд, именитый, с авторитетом, и знаменитый, лез из кожи вон, чтобы добыть сыну почётное место капельмейстера, а не уважили, отдали должность чужаку, как не вскипеть от негодования? И зацепки у папаши Леопольда были.

— Эти очаровашки итальянцы, — гудел папаша Леопольд, обращаясь к степенным бюргерам и подразумевая, конечно, в первую очередь капельмейстера Сальери, — засидели нашу музыку, нашу великую Венскую оперу, как, — не стану говорить, — уж сами догадайтесь, кто! Даже оперы у нас исполняются на итальянском, а мы слушаем, будто Господь отнял у нас собственный язык, и дал нам взамен только уши, ослиные, как у тупоголовых баранов. Может, и нашим бурёнкам мычать по-итальянски, и курочкам кудахтать? А что, пусть итальянцы и их поучат!

Умел язвить старший Моцарт, когда был в ударе. И сторонники у него находились, и разговоры на схожую тему, хоть и более общие, нередко велись в австрийской столице: «Уже стыдно, господа! Нас, немцев, большинство в Империи, а что видим? Наша архитектура — итальянская школа, живопись и скульптура — итальянская школа, музыка — итальянская школа! Но австрийский, — немецкий дух! — давно вырос из итальянских штанишек. Возьмите хоть инструменты: и клавишные, и духовые мы делаем уже не хуже, а то и лучше итальянских. А всё ходим у них в школярах!» И тому подобное.

Хитрец Леопольд пёкся, я подозреваю, не столько о торжестве немецкого духа, а прежде всего о должности капельмейстера для сына, которая, вопреки его прежним усилиям, досталась пришлому, итальянскому композитору. Однако партия не была окончательно проиграна: на чужеземном происхождении соперника ещё можно было удачно сыграть. Главное, у Леопольда был повод пошуметь, хотя наверняка он прекрасно понимал, что витийствует совсем не перед теми. Убедить-то надо было других, от кого действительно что-то зависело в официальном искусстве, — аристократию, сановных вельмож. Но вот беда-то: наши надменные дворяне, пример остальным, нередко сами смущались своего родного языка, тем более, что диалекты немецкого порой заметно различались, не сразу и поймёшь. Другое дело, скажем, французский: на нём и сказки отпрыскам на ночь читывали, и меж собой частенько в беседах упражнялись, особенно в свете. Ну а моду в опере задавали вовсе не мужчины, не кавалеры, а их дамы, и не простолюдинки, а аристократки, и у них один ответ: «*L / italiano mi piace molto!*», хоть убейте, обожаю итальянский! Он такой певучий, романтичный; немецкий же язык, — увы, что поделать, судьба! — грубоват для утончённой музыки, для лирических песен, резок уж очень, такой, ну как сказать, гортанный, что ли, ну не то!» Да, итальянцев в Венской опере, — и композиторов, и дирижёров, и музыкантов, и педагогов, — действительно было много, но все они назначались только с высочайшего позволения самого главного лица Империи — Его Императорского Величества. И это было неоспоримо.

Однако и ворчливые возгласы, и ропот, и брюзжание всё же доносились до императорского слуха, неутомный папаша Леопольд ещё энергичнее осаждал, донимал, изводил осторожное начальство Венской оперы то смиренными, нижайшими прошениями, то категоричными призывами, и не мытьём, так катаньем, а добился своего: неизбежность назначения королевского капельмейстера Антонио Сальери, который не дал, — с сожалением свидетельствую, — ни единого серьёзного повода быть недовольным им, была всё-таки поколеблена.

Последнее слово оставалось за Его Величеством. И Он огласил мудрую монаршую волю: да будет так, пусть истина родится в споре, бескомпромиссном и публичном. И так же, как император Рима развлекал подданных гладиаторскими боями, так и наш Император повелел устроить грандиозную битву — Битву опер. А заодно и выявить, кто на самом деле сильнее, популярнее, а значит, и достойнее на месте капельмейстера Королевского театра.

Вслух, естественно, не объявлялось, но всем было яснее ясного: это будет судный день для Антонио Сальери.

Антонио Сальери и Вольфгангу Моцарту от лица Его Величества было задание: сочинить каждому в сжатый срок, к назначенной дате, оперу буффа — комедийную, забавную оперу, и не просто, какую вздумается, что душе угодно, а на заданную и одинаковую тему.

Иной, даже вроде бы и завсегдатай театра, скажет: ну опера и что, композиторы ж всё время что-нибудь сочиняют, какая им разница? И многие слушатели так считают, по простоте своей или недалёкости.

Как растолковать bestofkovым? Вот вам пример. На ярмарке один играл в шахматы, на деньги, вслепую. Лица никто не видел: он сидел с чёрным мешком на голове, будто приговорённый к казни и обречённый на неминуемую гибель, — для приманки, конечно, для пущего эффекта, — и зевак собиралось будь здоров. Монотонным, низким, как бы загробным голосом он объявлял ход, кучерявый мальчишка двигал за него фигуру и потом выкрикивал ответный ход соперника, было даже загадочно. А после матча таинственный игрок поворачивал свой чёрный мешок на голове, и там уже были отверстия для глаз, чтоб посчитать выигранные деньги, — он обязательно выигрывал, даже играя вслепую на двух досках, правда, с удвоением ставок. Поэтому сего господина называли «шахматным палачом» и все без исключения поражались: ах, как это возможно, столько разных комбинаций, а он всё держит в голове, в памяти, ах, ах, и играет, и побеждает!

А я усмехался, слыша их восторги, святая простота! Они понятия не имели о другой игре — об игре в настоящую музыку. В шахматах всего-то несколько десятков клеток и вдвое меньше фигур. А в музыке таких клеток — тьма, не счесть, а комбинаций, вариаций — ещё больше, и в той же опере больше, и все эти голоса, арии, инструменты звучат в голове, в воображении, и их надо разделить, надо держать в уме, — посерьёзней стократ, чем любому шахматисту, — и помнить, и варьировать.

Вот звучит фагот, а что в это время исполняет виолончель, а ударные, а остальные? Голова кругом, в горячке, будто сейчас взорвётся, как пушечное ядро, и ведь надо всё записать на бумагу, в ноты, и быстро, быстро, тебе даже некогда смотреть на клавиши, иначе просто потеряешь мысль, мелодическую фразу, и потеряешь время, пишешь из головы, и тебе не хватит ни дня, ни ночи — вот что творится с композитором, ни в какие шахматные мозги это просто не поместится, я уверен.

Тот шахматист играл от силы две партии, — всего-то две! — а у композитора партий может быть, сколько ему захочется, и каждую надо поставить и сыграть идеально. А ещё нужно договориться по тексту с либреттистом, продумать певческие, а возможно, и танцевальные сцены, продумать персонажи, их голоса, костюмы, сразу же прикидывая возможных, наиболее подходящих исполнителей, и ещё успеть посмотреть декорации и из зала, и с верхнего яруса декораций, если оттуда тоже будут петь, и ещё художники, плотники, и всякие счета тебе под руку суют, — бездна, бездна всяких таких клеток и ходов, и если все эти музыкальные ходы не продумаешь, не прочувствуешь шкурой, да так, будто с тебя её уже содрали, с живого, с тёпленького, то в итоге не победа, нет, не аплодисменты, не ажурные перчатки очаровательных и очарованных дамочек тебе на плечо, а зевки или презрительный гул, а то и свист, улюлюканье, как скотине в грязном загоне. Ну, каково? Всё

равно что целую свою жизнь проскакать за несколько недель галопом, вот что значит написать оперу. если кто понятия не имеет! Я всё это знал, поэтому даже не дерзнул взяться за оперу.

Чуть не сбивая прохожих, мальчишки глашатаи продавали на улицах и площадях очередную порцию газет, выкрикивали заголовки: «Битва опер, битва гениев, Моцарт против Сальери, безжалостная схватка гладиаторов музыки!», «Гордый австрийский Пастушок против сурового римского Легионера!», «Пастушья свирель против боевого рога!» и в таком роде. И это действительно было предвкушение грандиозной, эпической битвы королей, когда один может взойти трон, а другой свалится с трона в ноги черни, — убийственной дуэли, где один из дуэлянтов рухнет замертво.

Состязание композиторов проводилось в оранжерее императорского дворца Шёнбрунн, в двух залах, где были расставлены декорации; в одном конце исполнялась опера Сальери, в другом — Моцарта. Оркестрантам предстоял тяжёлый марафон, поэтому играли два состава, причём оба оркестра играли первые половины обеих опер, а во время перерыва менялись местами, залами. Это ради объективности, на случай, если исполнительское мастерство оркестров окажется разным. Так что я имел возможность репетировать и творение Моцарта, и Сальери.

Для «Музыкальной битвы века» были отпечатаны оригинальные красочные билеты с витиеватой надписью «Победитель» на отрывных корешках, и наступил час, когда счастливые обладатели билетов взбудораженно заполнили коридоры.

На улице падал хлопьями снег, и хотя окна театра-оранжереи были приоткрыты, в фойе стояла духота, настолько много было публики, дамские вееры неутомимо разведали вокруг нежнейшие ароматы; обособленно, словно диковинный цветник на общем фоне, даже среди экзотических пальм и цветов, выделялись горделивой осанкой молодые светские дамы, прелесть, какие изысканные, просто чудо, в роскошных шляпах бонне а ля нотабль — *bonnet a la notable* — на белых напудренных париках и затянутые в шелка настолько тонкие, что и сквозь корсажи угадывались позвонки податливо гибких и изнеженных тел.

В костюме музыканта я проходил мимо этих дам, совсем рядом, но сейчас музыкант, не развлекающий их музыкой, был интересен им не более, чем лакей. Обсуждая новости парижской моды, аристократки щебетали по-французски о новинках от маленькой модистки Роз Бертэн, она обшивала и наряжала саму Марию-Антуанетту. И у кого бы заказать такие же миленькие кружева, такая, знаете, сеточка витых серебряных нитей с жемчужинками вместо узелков? Мда, скромным женщинам нашей семьи проблемы этих аристократок были неведомы. Может, и к счастью...

Встречались здесь и солидные, степенные господа, совсем не меломаны, не любители опер и музыкальных вечеров, но вот потратились на дорогие билеты и в ожидании битвы гениев прохаживались по коридорам с чопорными лицами и поджатыми губами.

Я уже видел подобные постные, келейные лица. Попытался вспомнить, где, — ну как же: «Колизей!» Так назывался обшарпанный дощатый сарай на ярмарке, там прежде торговали скотом, но украсили вывеской и летом по выходным устраивали кулачные бои. Народу набивалось битком. Были среди зрителей и бандитские рожи, с какими лучше не сталкиваться в подворотне, были калеки и увечные, но были ещё и вроде бы совсем добропорядочные, прилизанные, утомлённые господа, с такими же благостно, терпеливо опущенными глазками. И что же этих господ, столь благонамеренных, собирало вместе с остальными в замызганном сарае, с едким табачным дымом, с потом, с грязной бранью? Отвечу: кровь, её запах и вид, когда она брызгами летит во все стороны

от убийственных ударов. Любим мы беспощадные поединки, только не поучаствовать самим, на это у нас кишка тонка, — а посмотреть с безопасного местечка, как сильные и страшные бьются в смерть на потеху нам, слабым и пугливым. И мы с приятелями поэтому тоже были здесь, смотрели во все глаза. Помню, на деревянный помост, присыпанный песком, вышел ну прямо человеко-зверь по прозвищу Циклоп, здоровенный, чудовище с рыжей шерстью на плечах, с бритой головой, — наверно, чтоб не могли схватить за волосы, — и с широко поставленными глазами. Он смотрел на зрителей, один глаз его косил, но мне казалось, он свирепо уставился именно на меня, будто собираясь после поединка разобраться и со мной. Вспомнишь такого — мороз по коже. Не сомневаясь в его мгновенной победе, мы сделали ставку на него, тем более, что его соперник, — кличка, кажется, Таранту, как-то так, точно не помню, — был и ниже, и худее. Но этот худой проявил внезапную прыть, сам бросился на Циклопа, нанося ему всяческие удары, и когда тот закачался, вся толпа, и я, поставивший на Циклопа, все орали: «Добей его, добей, убей!» Разбитым в кровавое месиво лицом Циклоп с грохотом рухнул в угол помоста, поднимаемая облако пыли, попытался поднять голову, но не смог, и рёв стоял — не передать. Кто-то плюгавенький, чья ставка не оправдалась, совершенно ничтожный, мизерный человечек, расхрипевшись, подбежал и плюнул на поверженного, да ещё, послунявив, смачно пришлёпнул свой проигрышный билет к бессильной, пыльной голове побеждённого. И просто гомерический хохот толпы. У прищемлённых жизнью людей свои, жестокие радости. И вот что значит настоящий поединок, без компромиссов.

Я тоже не желал ничьей в битве опер, в битве колоссов, Моцарта и Сальери, я хотел большой крови.

Когда музыкальный поединок завершился, голоса слушателей-зрителей считали с соблюдением всех правил долго, дотошно, представители и от Моцарта, и от Сальери; толпа и внутри, и снаружи уже гудела от нетерпения. И, наконец, итог голосования был торжественно оглашён для высокочтимой любезной публики: «Безоговорочно, с подавляющим преимуществом в Битве опер победил Антонио Сальери!» Папаша Леопольд, плюясь, уводил растерянного сына через запасной выход, Вольфганг был почти в состоянии прострации, еле двигался, я видел собственными глазами.

Потом Моцарт-старший утверждал, что его Вольфгангу нарочно подгадил либреттист-итальянец, наверняка дружок и собутыльник Сальери, — но я свидетель: дело было не в тексте, дело было в музыке. Ещё сторонники Моцарта бормотали в оправданье: Сальери старался чуть ли не всем угодить, вот и выиграл. А Моцарт? Не старался всем угодить? По настоящему, по наущению папаша Леопольда разве не он, Вольфганг, долго и усердно, за немалые деньги, учился за границей галантной музыке у одного знаменитого педагога и музыканта? Приходил, прилежно, изо дня в день, постигал законы, правила красивой, изысканной мелодии, как, скажем, познают геометрию или как студенты медики изучают мышцы и сухожилия человека, рассекая, расчлняя труп в море, в анатомическом театре, — заметьте, тоже в театре, — чтобы потом новым своим умением ещё больше восхищать всех. И Сальери хотел нравиться публике, а кто не хочет? Скажите, нашёлся б разве такой бунтарь, который сочинил бы что-нибудь оскорбительное для вкуса публики, ух, мол, такое выдам, — поперхнётесь от моей дерзости? Если б и нашёлся, в лучшем бы случае освистали наглеца, а то и забросали б чем ни попадя, и больше б на сцене не появился.

Здесь каждый продемонстрировал предел своих возможностей и победил тот, кто победил. На мой взгляд, в музыке Моцарт, — наверно, это было заложено в воспитании, — Моцарт больше тяготел не к нашему, сумрачно-задумчивому, сдержанному немецкому характеру, устремлённому во всё к простым и достаточно лаконичным, чётким решениям, а

к фривольному, нескупому, а то и расточительному на звуки, раскрепощённому итальянскому духу. Парадокс: Моцарт был более итальянцем, чем Сальери, и всё равно проиграл. А прозвучавшая музыка Сальери, напротив, была, пожалуй, не свойственна ему, но ведь главное, он победил, доказав, что способен сочинять разнообразную музыку.

Провидцем я оказался никудышным, ошибся насчёт триумфа Моцарта, но ничуть не огорчился, наоборот, в ближайший свободный вечерок закатил на свои кровные щедрую пирушку моим дружкам-приятелям. Это был праздник сердца. Потому что Моцарт, чьим именем истязал меня мой бедный, несчастный отец, бесподобный, божественный Вольфганг Амадей теперь, избитый и оплёванный, лежал в грязном песке, на помосте, в пыли, без славы, с пришлёпнутым проигрышным билетом на взмокшем лбу... И я аплодировал Сальери, который при всех опрокинул его, аплодировал от всей души, и опять удивлялся итальянцу.

Я понимал талант Моцарта, его природу, мы ж с ним одной породы: его отец, как и мой, был профессиональным музыкантом, причём ещё и признанным теоретиком, писал книги по теории гармонии, старшая сестра Моцарта, на пять лет старше его, Мария Анна, сочиняла сама, и весьма-весьма недурно, — не родись она девочкой, наверняка прославилась бы, может, и не меньше брата, — она могла подсказать и маленькому Вольфи. Но я совершенно ничего не понимал в судьбе Сальери. Его не ставили на ящик или тумбу, чтобы, забыв страх, думал только о музыке, не щёлкали смычком по пальцам, чтоб не смел допускать ошибок, не прошёл он через все эти пытки, чтоб узнать и понять настоящую цену музыке. Не было у него такого. Он, видите ли, убегал из дому в дальнюю церковь, где его задаром, из жалости, обучал старый, полуслепой второй органист, если был достаточно трезв. И это — подвиг? Смешно!

Сын торговца мясным фаршем, Антонио Сальери тоже мог, и по праву, стать торговцем или, если взбрédёт в голову такая фантазия, хоть вольным свинопасом. Но никак не музыкантом, не дирижёром, никак не композитором в великой Венской опере, никак ни этим блистательным демоном перед оркестром. Кто ж там, на небе, насмехается над достойными людьми?

Поостыв, я задавался другим вопросом, довольно давним и всегда интересным мне, — о природе, о причине музыкальных предпочтений. Откуда эта причина: из детства, из окружения? Или из характера? Впрочем, нередко оказывалось, весёлую музыку, бравурную, летящую, как искры из-под копыт, сочинял вовсе не завязтый весельчак, душа любой компании, а композитор необщительный, замкнутый, даже нелюдимый, сумрачный и с виду просто увалень. Своими композициями он пытался растормошить, взбодрить, развеселить не столько других, сколько себя? А вот Сальери? Почему в творчестве он тяготел к драматизму? Его с детства не воспринимали всерьёз, и Антонио музыкой хотел доказать свою серьёзность, обстоятельность? Или так настраивали его молитвы и торжественно строгое убранство храма, куда maestro отправлялся вместе с многочисленным семейством? А сама жизнь казалась ему вечной и полной неожиданностей драмой, которую надо терпеливо и неустанно, с благодарной, вежливой улыбкой преодолевать?

Подобное знание, возможно, могло бы помочь и моему творчеству, но, к сожалению, у меня не было ответа. Единственно, что я мог, сочиняя свою музыку, — это тайком дирижировать перед зеркалом в манере Моцарта или Сальери, но разгадать того или другого, чтобы как говорится, «залезть им под кожу», узнать тайны их творчества, мне не удавалось. Я надеялся, не удавалось только пока...

А те ноты, кстати, масонские песни и кантаты Вольфганга, которыми он спяну так похвалялся, я всё-таки раздобыл, через музыкантов, любопытно ведь. Наиграл, вслушался и с полнейшим удовлетворением дал своё заключение: пышно, пафосно, всё логично, всё правильно организо-

вано, — и ничего неожиданного. Может, Вольфи относился к этим сочинениям как к обременительной обязанности за хорошую плату, — но нет, не то, без огонька, без искорки, не то... Похоже, подумал я тогда, хвалёный Моцарт потерял свой гений в усталом детстве и вряд ли уже найдёт.

Ещё одна, совершенно крамольная мысль вдруг пронзила мой ум и, признаться, не даёт мне покоя и по сей день, спустя десятки лет. А если б, как в разных притчах и сказках, Сальери и Моцарт в раннем детстве, скажем, годикам эдак к пяти — семи, вдруг поменялись местами, родителями: Антонио попал бы к папаше Леопольду, а Вольфи — в семью торговца мясным фаршем и мукой, к старшему Сальери, — как бы сложилась их судьба? Не сомневаюсь, Антонио Сальери поднялся бы теперь, — да даже не теперь, а намного-намного раньше, — просто до невозможных высот, а вот Вольфганг? Нашёл бы он дорогу к высшей гармонии или свернул бы на другую, на извилистую дорожку, а там и пьянки, и простецкие соблазны, и сшибал бы с прохожих подаяние за игру на скрипке? И так ли бы он божеественно играл или уже ковырял бы пьяными пальцами рваные струны, — это ж только говорят, что талант не пропьёшь, а на самом деле пропьёшь, быстро пропьёшь, запросто, и не заметишь, а обратно вернуться — ах как не в мочь такие подвиги свершать, вернуться на прежнюю высоту? И поставив вопрос так, я должен был бы сравнить и свою предполагаемую судьбу с гипотетической судьбой Сальери, и выходило страшное: Сальери был изначально талантливее, гениальнее и Моцарта, и уж тем более меня. Однако осознание этого вовсе не прибавляло мне симпатий к Сальери, наоборот: он ведь был чужой.

После поражения в Битве опер, поражения, без сомнения, семейного, — старший Моцарт, папаша Леопольд, надолго слёг, сильно занедужил, но вот в характере Вольфганга, по-моему, и правда осталось или было всегда что-то от ребёнка. Дети быстро забывают слёзы и горькие обиды, так же и Моцарт лишь первые дни после публичного своего унижения от другого композитора приходил в театр пришибленный, глаза в паркет, но вскоре, будто отряхнувшись, вернулся к обычным своим манерам, к рискованным, неприличным шуточкам над артистками, и всё ж, получив прилюдного щелчка по носу, он уже меньше задирал этот припухлый нос, и остальных это устраивало.

И вот будто сейчас случилось, и хотел бы, не забуду. Моцарт принёс концовку своего большого сочинения, весьма причудливую и сложную, мы отрепетировали оркестром, все его поздравили с успехом, с окончанием, и он по этому поводу заказал вина, приличного, даже дорогого, отмечали чин чином. Однако есть одна тонкость: бывает сочинение мастерское, мастеровитое, чувствуется рука, и сложности хоть отбавляй, и мы сыграли эту его концовку, довольные, что справились и ни разу не сбились. Но эта моцартовская концовка никого не задела, не зацепила, ни у кого глаза не заблестели от ощущения некоего музыкального откровения, когда чувствуешь: вот сейчас при твоём участии рождается чудо — этого не было, так, затейливая штучка, сыграешь раз и забыл. И Моцарт, чувствительный, как избалованный ребёнок или как ревнивая, привычная к восхищению и комплиментам красивая женщина, конечно же, угадал такую хоть и неявную, но равнодушную оценку. Да, он весело шумел, да, он пил жадными глотками, он широко, наотмашь, разливал дамам игристое вино, расплёскивая мимо, и скатерть сразу сменили, он взвинченно смеялся, однако когда я на мгновение поймал его взгляд, там не было ничего кроме смертельной тоски и отчаяния. Но он всё храбрился, ёрничал, накручивая себя, даже не думал утомиться.

В комнате на полу лежал измызганный, истоптанный ковер, — а скорее всего старый гобелен — он скрывал выбоины в паркете, который не

удосужились перестелить, — Моцарт бухнулся на четвереньки и закричал артисткам, мол, для любой, которая прокатится на нём, он напишет сольную партию, только вначале надо проскакать магический треугольник, и он уже застывая, — «Игого, ну же, девочки, а то передумаю!»

Дамы тарасились во все глаза, возбуждённо хихикали, кусали хмельные размазанные губы, думая, как поступить, и единственно кого стеснялись, — совсем не Моцарта, а некоторых других, пожилых мужчин, а среди нас были и седые, перед пенсионом... И одна решилась, сняла, вихляясь, верхнее, с обручами, платье, оставшись в тонком нижнем, заштопанном белишке, уселась сзади, словно молодая ведьмочка, только не на помело, а на ослика в парике, на Моцарта, и толкнула маэстро гибкими бёдрами: «Вперёд, но, Вольфи, но, давай, давай, быстрее, но!», и от хлесткого, звучного шлепка по его заду Вольфи поскакал, резво пополз, стуча коленками и кулаками, как копытцами; наездница тоже долбила пол пятками, все сгрудились над ними, визги, свисты, понуканья, тени шарахаются по стенам, вакханалия, вертеп — и коняжку уже нельзя было остановить. Моцарт ржал ретивым жеребцом, бухал ладошками, кричал взахлёб: «Чую сердцем жар твоих ягодиц!», ещё какую-то непотребную чушь, и ладно б только это, чем бы дитя ни тешилось, уже привыкли. Но едва дикая парочка вернулась в исходную точку, как бы в вершину треугольника, произошло нечто ни в какие ворота, совершенно отвратное. Среди визгов и оргии раздался громкий натужный звук, который невозможно спутать ни с каким другим и какого нормальные люди стесняются, даже запершись в нужнике. Моцарт просто-напросто... — нет, и в стенах вашего заведения язык не поворачивается назвать вульгарное слово, я всё-таки воспитанный человек, — маэстро Моцарт, Вольфганг Амадей Моцарт издал утробный звук, бесстыже, мерзко, и ещё закричал, гыгыкая, даваясь хохотом: «Не я, не я, это иерихонские трубы!»

— Ну Вольфи, охальник, ну фу, ну как можно! — взахлёб верещали пьяные дамочки, хлопая в ладошки и подскакивая от восторга, а мужчины, музыканты, особенно пожилые, смотрели с каменными лицами и некоторые прикрывали рот, словно боясь, что их вырвет.

Можете себе такое представить, а? Вы, вот вы, представляете? Сомневаюсь. Не пьянь подзаборная, не умалишённый на цепи, а свет небесный, надежда Венской оперы, Моцарт, аллилуйя! Если б я позволил себе хоть малейшую толику подобного, и начальство, и даже уборщицы перестали бы со мной здороваться, не удостоили б и кивка, сразу бы вокруг молчаливая стена, и вообще на порог бы театра не пустили! Это если б я, да и любой другой. А ему сходило с рук, почему? Может, женщины не терпят скуки, им всегда подавай развлечение, неважно, какое, молодые ведь, красивые, иначе и не взяли б на сцену? А возможно, объяснял я себе, это потому, что у них ещё нет детей, а инстинкт материнства уже даёт о себе знать, и в Моцарте они видели проказливого ребёнка, не признающего правил, непоседливого шалуна, которому всё можно простить, из любви? Сомневаюсь, что он нравился им как мужчина, хотя кто их, женщин, знает? Может быть, слава и талант, как солнце в глаза, ослепляют так, что ничего уже и не видишь? Не знаю, не знаю...

И что, вы думаете, было дальше? На следующий день Моцарт пришёл в оперу, совершенно другой, бледный, как монах после молитв в пещере, измождённый, с пятнами свечного воска на штанах, и даже тембр его голоса изменился; говорил он кратко, но здраво, по-взрослому и с достоинством, снисходительно-свысока, когда протягивал нам ноты, тоже заквацанные воском, — и мы поняли причину этой внезапной его перемены. Поняли, когда сыграли переписанную им за ночь ноты, но не концовку прежнего произведения, а фрагмент нового его творения, оперы про некую женитьбу. И вот в те минуты — да, это был Моцарт, блистательный, настоящий, неистощимый, достойный самого себя, того вундеркинда в паричке, с картинок в журналах.

Как это возможно, поражались музыканты, вчера вытворял такое, хоть святых выноси, хоть в смирительную рубашку, и вдруг за ночь выдал, родил, сверкнул, как?! Уму непостижимо!

А я угадывал, я знал наверняка причину этого противоречия и поведения Моцарта, я понимал его, как никто, нас ведь многое связывало. Это Антонио Сальери мог носиться в детстве по закоулкам, прыгать по развалинам и через канавы, отважиться на дерзкие шалости и проказы. А у Моцарта, как и у меня, не было детства. Наше детство монотонными, мелодичными и методичными своими жерновами перемолола великая музыка. И я мечтал бы хоть сейчас отыгаться, учудить какую-нибудь шкочу, самовольную выходку, да только духа не хватит, слишком приучил я всех к своему послушанию, к своему приличию. А Моцарту хоть теперь повезло, ему позволяли выходки, потому что он доказывал свой талант, — и он доказывал свой талант, потому что на его выходки закрывали глаза. Ему, Моцарту, надо выпрыгивать из любых рамок, и рамок приличия в том числе, нужна хотя бы иллюзия свободы, которой его, как и меня, лишили в детстве. Иначе его талант зачахнет, задохнётся.

Да, может, я не сказал: тот музыкальный кусочек — это был фрагмент будущей «Женитьбы Фигаро». И выходило, чем больше Вольфганг шпыняла, колола шипами и встряхивала жизнь, тем, словно пробуждая и защищая его, его музыка становилась живее, свободнее от тесных канонов. Иначе просто не объяснишь. Жестокое поражение, публичное унижение в Битве опер, — и нате вам, родилась другая опера Моцарта, необыкновенная, бесподобная, игривая, игристая, как пьянящее свадебное вино — «Женитьба Фигаро». Даже спетая на итальянском языке, она восхитила музыкальную Прагу, и светской публикой Вены была принята с одобрением, хотя и сдержаннее, не сразу распробовали, — и, думаю, вовсе не из-за музыки, а из-за либретто: по сюжету оперы ловкий слуга, защищая честь невесты от посягательств господина, проявляет столько находчивости и смекалки, что выглядит явно сообразительнее, умнее и симпатичнее хозяина, напыщенного породистого аристократа.

Новое потрясение, удар судьбы для Вольфганга — смерть после тяжёлой болезни его главного наставника и заступника, отца, Леопольда Моцарта, — и миру был явлен полный трагизма и скорбной силы «Дон Жуан». Правда, у меня сложилось впечатление, на это творение оказала влияние — что бы вы думали? — музыка Антонио Сальери, так мне показалось, есть весьма схожие интонации, есть, не верите — прислушайтесь, и не я один так подумал!

Меж тем в мире творилось что-то несуразное, и совсем недалеко. Из Франции приходили непонятные слухи, тревожные, противоречивые, даже невероятные: будто бы из-за неурожая, а потом и повального голода взбунтовались их нищие, разгорелась смута. Казалось бы, эка невидаль, и прежде случались там волнения, но всегда непринуждённо подавлялись королевской армией во главе с щегольской дворянской кавалерией. После чего следовало множество разнообразных показательных казней, — дабы на будущее отбить даже мысль о бунте. Однако на этот раз что-то у бывалых властей не заладилось: голодранцы с кольями, камнями, с вилами, с топорами и косами, превращёнными в копыя и секиры, не только отбивались от атак доблестной королевской армии, но и сами устраивали дерзкие вылазки, нападали на дворянские поместья, чиня грабежи, насилие и убийства. И высокородные господа, те, кто прежде вызывал трепет, теперь трепетали сами.

У бунтовщиков объявились умелые вожаки, искусные вдохновители: называя гольтьбу согражданами, они извергали хулу на королевскую династию, на господ, обвиняли тех во всех грехах и бедах, обещая поквитаться по полной и лишить их привилегий на все времена, зато для всех остальных добиться равенства в правах, неважно, какого ты роду-сословия. Неслыханно! Волнение достигло и французской столицы,

растревоженный Париж гудел пчелиным роем и, хотя сообщения в австрийских газетах на этот счёт были скудны и сдержанны, для нас подобные слухи подтверждали после заграничных гастролей музыканты нашего театра. И Сальери в их числе: его грозные, как раскаты грома, как близкая буря или сметающий всё на своём пути ураган, сочинения исполнялись в Париже при переполненных залах, вызывая восторг и ликование разношёрстного городского люда, словно зовущее к победе дерзкое знамя. Маэстро Сальери, вряд ли нарочно стремясь к тому, попал в настроение большинства парижан.

А у нас площадь перед оперой каждый вечер заполнялась дорогими экипажами. Похоже, нашим аристократам для встреч и утешительных бесед уже не хватало дворянских собраний, теперь они зачастили в Венскую оперу, — в Королевский, напомним, театр, — он был для них, считай, почти собственностью, изысканным фамильным замком на неприступной скале, где они всегда чувствовали себя хозяевами. Небрежной роскошью одежд, лёгкостью отточенных манер здесь светские дамы и кавалеры демонстрировали, доказывали всем и себе несомненное, блестящее превосходство высшей касты над остальными-прочими, а французский пожар — он где-то там, далеко, он вообще их не касается и никогда не коснётся. Однако по шороху платьев, по шелесту их голосов угадывалось: страх уже подбирается к ним, уже пробегает по их горделивым спинам, по позвоночникам, побуждая быть настороже. И им хотелось утешения, австрийской знати хотелось ласковой колыбельной, этого они ждали и от маэстро Сальери...

Только тот и не думал смягчать свой французский репертуар, не собирался никого убаюкивать и утешать; его музыка стала ещё жёстче, острее. Ещё яростнее. Как заточенные серпы, как мужицкие топоры, рассекающие дворянские кирасы, как кличи и вскрики на поле брани. И сам собой возникал у меня вопрос: а, может, Сальери сочувствовал бунтарям, их жажде вырваться из вечного ярма, из-под ноги господ? Возможно, вполне. По слухам, Антонио осиротел ещё подростком и был взят на воспитание состоятельными родственниками, те заботились о нём, но вряд ли считали равным себе бедного приживалку, а дети это чувствуют. Мне вспомнилось, как устраивался я репетитором к господам, лучше б и не вспоминать. И в прихожей битый час топчешься, хоть пришёл строго в назначенное время, я пунктуален, — но хозяину вдруг вздумалось вздремнуть, и не будить же господина ради, вы уж простите, музыканта? Или: дошло до разговора, ты нанимателю про свои рекомендации от разных приличных домов, стоишь перед ним смиренно, вместе с его кухаркой и горничной, а он в зубах ногтем ковыряет, пообедал, знаете ли, сытно, а прожевал-то не очень, ещё и из стакана водичкой прополощет, с шумом, с бульканьем, чего уж стесняться — и кого? А то и вообще камердинер на порог не пускает, смотрит сквозь тебя: не велено, человеческим же языком сказано, неужто непонятно? Потом они, конечно, извинятся, дескать, недоразумение, слуга бестолковый не так понял, уж простите великодушно, но ты-то понимаешь, ты же не идиот: так всё и задумано, тебя, как собачонку, к ноге приучают. А я, замечу к слову, я первоклассный музыкант, не по протекции, не связями, не из любовной дамской любезности, а талантом и трудом, трудом и талантом, как впряжённый мул, как белка в колесе, исключительно так и никак иначе, иначе в музыке не получится! Но для этих господ я, как и их безропотная дворня, как и их челядь, был только обслугой, — без разницы, с половой ли тряпкой, с помойным ли ведром, или с мудрой, всё понимающей скрипкой в заношенном, выцветшем футляре. Поэтому я был на стороне Сальери и, хоть никому не признался б в крамоле, а мечтал, чтоб надменную нашу знать, с её снисходительным высокомерием, с её приторно любезным презрением, пугнули б хорошенько, прищемили бы хвост вместе со шлейфами их роскошных платьев, — мечтал, не скрою, даже кулаки сжимались.

И они, неколебимые аристократы, вальяжные властители жизни, беззаботные жуиры, щёголи и щеголихи, приезжали как миленькие, послушать грозную музыку Сальери и слушали покорно, в болезненном напряжении, — так же, как напуганные, взбудораженные страхом дети всё слушают и слушают тревожные, даже мрачные сказки, не оторвать. Не исключаю и другое: истый христианин, Сальери, словно стегая пресыщенных господ своей суровой, как карающая десница, музыкой, хотел совсем немногого: чтобы и они задумались о смысле жизни, не праздной, привычной для них, а о христианской, добродетельной, и чтоб были готовы к тяжким испытаниям и к стойкости.

И то ли Сальери удалось достичь задуманного или просто так совпало, а мне лишь показалось, что это под воздействием его музыки, но действительно в театре всё больше среди знати велось разговоров о семье, о своих детях и стариках, о домашних заботах, о церковной службе и постах. У меня как музыканта хватало поводов и причин неприметно пройтись по театру перед представлениями, и в том числе мимо сиятельных господ. Разговаривали они вполголоса и по-прежнему по-французски, чтоб отгородиться от посторонних ушей, но мне кроме итальянского французский тоже был знаком, я прислушивался к их речам, и с любопытством. Дамы обсуждали заморскую современницу, английскую королеву Шарлотту, которая родила венценосному супругу аж, — нет, вы только представьте, даже в голове не укладывается, не то чтобы где, — пятнадцать наследников династии!

— С ума сойти! — заохала одна из дам. — Стать королевой — и зачем? Рожать, рожать без передыху, и никаких тебе балов, сплошь только родовые схватки и корчи? Ну могла ж притвориться, что уже всё, уже не может? Слава Богу, хоть жива...

— А как же наряды, — откликнулась растерянно другая дама, — она ж королева...

— Бог с вами, какие наряды, о чём вы, милочка! Хорошо ещё, в Англии их вообще можно носить! А во Франции, говорят, на приличный костюм чернь кидается как бешеные псы, разорвут! Тут уж забудь и моды, и кудесницу Роз Бертэн!

— Да что ж такое-то, вас же просили, ни слова об этой безумной Франции!

Однако события во Франции дышали столь горячим, столь нестерпимым жаром, что доставали и до нашей благословенной Империи, не отмахнёшься, ни театральным веером, ни пренебрежительным молчанием. В какой-то французской их провинции оборванцы-бунтовщики насадили на пики головы дворян, и мужчин, и женщин, и приветствовали друг друга поклонами этих сиятельных, некогда гордых, голов, — дескать, раньше мы им кланялись, а теперь пусть и они нам. Это были только цветочки, и от слухов о зверствах французской черни нашим высокородным театралам становилось явно не по себе, сбивались в стадо, словно холёные, золоторунные овечки, как-то по-плебейски суетились, с опаской оглядываясь через зеркала даже на театральную прислугу, — уж не готовят ли тоже заговор, жестокую смуту, на чужой манер?

А дальше — больше. В предместье Парижа уже публично, гуртом казнили дворян, и некий учёный доктор снова и снова предлагал, убеждал во имя гуманности: надо упростить и ускорить казни благородных пленников — рубить головы не на плахе, со всей этой церемонной канителью и ошибками палачей от усталости, а в порядке живой, так сказать, очереди, при помощи быстрого и удобного устройства. Спорным оставался лишь один вопрос: сделать лезвие стремительно летящего сверху ножа горизонтальным или всё-таки под углом, со скосом? (Уже позднее я узнал, что сие, ставшее ходовым и неумомимое, не знающее износа устройство, названное в честь доброго доктора гильотиной, не имело соперников в популярности, и говорили, никакой театр не собирал столько

зрителей, как желающих поглазеть на чёткую, безотказную работу чудомеханизма. Механика порой сродни высокому искусству!»

Всё это, замечу, не где-то там, в туземных Африках, а в просвещённой Франции, а она же и другим пример, не проигнорируешь. Оцени-те ирония! Франция, законодательница мод, готовила для европейской аристократии совершенно новую моду — на дорогие сорочки, но с оторванными или с грубо отрезанными воротничками, без напудренных париков и мудрёных причёсок, а волосы всего лишь спадают на лицо, по-простецки. Чтобы за эти всколоченные волосы поднять из бельевой корзины очередную, новую, свежую дворянскую голову с удивлённым от ужаса, ещё влажным, ещё живым, вздрагивающим взглядом, поднять повыше, к сияющему солнцу, на радость ликующей, беснующийся толпе, пусть и дальние тоже увидят, порадуются со всеми, «Да здравствует Республика!» Вот что приходило из Франции.

И как ни пыжилась наша знать, как ни храбрилась, а, конечно, тряслись поджилки, тряслись, теряла опору, трусила, потому и дёргалась — от набожного смирения, на всё воля Божья, до безоглядного разгула, одна живём, с шумными балами до утра (где, кстати, мы, музыканты, неплохо подрабатывали, грех жаловаться), вино и веселье через край, чтоб обессилеть и упасть, опрокинуться, наконец, в парящее забытьё, словно от опиумной сонной настойки, до следующего дня, а там как бог даст, как провидению угодно.

Теперь «Женитьбу Фигаро» наша знать принимала на бис, даже сюжет оперы казался вовсе не крамольным, а миленьким, с оттенком ностальгии: ну подумаешь, слуга простолюдин чуть отбился от рук, ловчит, чтоб уклониться и не исполнить волю господина, не отдать невесту на первую брачную ночь, но ведь всё равно потом все вернутся на свои места, и слуги в свои стойла, и господа в свои кресла, и никаких господских голов на пиках. Идиллия! Моцарт опять оказался в фаворе, на коне, пошла у маэстро полоса, его с «Женитьбой» ждали в столицах и богатых городах, был нарасхват, и предложения поступали одно выгоднее другого.

В тот злополучный, фатальный для меня вечер Моцарт отрепетировал с нами половину своего нового сочинения, которое стояло в срочной программе. Но поскольку с утра следующего дня он должен был выезжать на весьма выгодные, — как у нас говаривали, наваристые, — гастроли, то чтобы как-то извиниться перед нами (ведь репетировать и исполнять его новую музыку нам придётся без него), а заодно и ради удачи, накрыл для честной кампании стол с вином, с закуской. Отмечали «у почтового кактуса», это в сквозной комнате, она выходила сразу в два коридора; у одной стены стояло раздолбанное пианино, которое, впрочем, всегда не забывали хорошенько настроить, а у другой был выгорожен шкафом уютный уголок с тумбочками, со столами. Тут был и многострадальный кактус в роли почтового ящика: на его пока целые иголки, забегая или проходя мимо, артисты накальивали коротенькие торопливые записочки, адресованные кому-то конкретно, ну и ещё дамы, закусив сладостями, цепляли конфетные фантики, сложив их мотыльками, выгадав экзотично, забавно. Рядом с кактусом стояла то ли витая ваза, то ли просто кубок зелёного богемского стекла, туда ставили цветы или бросали всякий мелкий мусор, хоть те же прочитанные записки.

За пьяным разговором вспомнили о событиях во Франции, это всех тогда волновало. Кто-то слышал, что в Париже бунтовщики захватили некую Бастилию, то ли крепость, то ли тюрьму, что Людовик Шестнадцатый и королева Мария-Антуанетта с придворными бежали из Версаля, и если их схватят, то смутьяны клянутся прилюдно их казнить, как всюю уже казнят пойманных аристократов. А ведь Мария-Антуанетта по рождению австриячка, и значит жди войны между Австрией и Францией.

Но Моцарт ни о каких бунтах-революциях и слышать не желал, затыкал уши, ему хватало своих проблем и неоплаченных счетов, а он же те-

перь снова пуп земли, король манежа, и он хотел играть, как в детстве, да хоть в прятки, сколько можно серьёзничать, и без того в мире всё пугающе серьёзно, — и Вольфи на самом деле исчез, искали — нигде не нашли.

А вернулись заглянули в переходную, в почтовую комнату, где выпивали, услышали нетерпеливое сопенье, отдёргнули портьеру — ну и кто бы сомневался, понятно, там, как дитёнок, которого, наконец наши, стоял навтытяжку, рот до ушей, Вольфи Моцарт. Готовый зайтись от перевозбуждения, он подбежал к пианино у стены, и встав к нему спиной, стораая от нетерпения, крикнул: «Три!» Все сгрудились вокруг, Моцарт предупредительно поднял ладони, призывая всех замолчать, замер, закрыв глаза и высунув разноцветно обложенный язык, словно боясь пропустить самое главное или предвкушая изумительное блюдо. Я, кстати, заметил, что одного зуба, с краю, у Моцарта нет, а другой почти чёрен, значит и над гением время властно, и как ни пыжься, как ни впадай в детство, хоть в гениальное, а всё равно состаришься со всеми, не отвертишься. Зрители одновременно нажали на пианино одну клавишу посредине и две ближе к краям; это нельзя было назвать ни аккордом, ни трезвучием, не знаю даже, чем вообще, только случайным оскорблением музыки, плевром в высокоую гармонию, настолько мерзко прозвучали одновременно эти три звука, строенный звук, омерзительнее даже, пожалуй, и утробного. Издать такой звук, даже если он вышел случайно, — это глумление над музыкой, но Моцарт задрожал от восторга. Сев за пианино, он склонил голову к клавиатуре, зашевелил ноздрями, будто принюхиваясь или собираясь чихнуть, и тюкнул носом в ту самую клавишу посередине, безошибочно, аплодисменты, маэстро! Правда, моё внимание отвлекла то ли родинка, то ли бородавка, которая показалась на шее музыканта из-под съехавшего вперёд и вбок парика, — не просто выпуклость, а тугой, с жёлтым отливом, тёмно- бурый, почти чёрный шарик, прилипший к коже, словно перевязанный снизу и держащийся на тонкой ниточке плоти.

Меняя ритм, Моцарт долбил носом по клавише, и потом, не глядя, раскинул руки к остальным заданным двум... и, — а все, затаив дыхание, гадали, попадёт, не попадёт? — и да, его указательные пальцы, без сомнения, как два гвоздя, вонзились, куда должно. Немыслимо! Опять абсолютное попадание, бесподобный, невозможный слух и гениальное ощущение инструмента! Но большеголовый, белоголовый дятел, клюя центральную, среднюю клавишу, только начал разминку.

Вольфи стал импровизировать вокруг двух крайних звуков, вначале вплотную рядом к ним, потом то удаляясь, то возвращаясь, словно исполняя вокруг клавиш диковинный танец пальцами. Однако я, к стыду моему, забыв про веселье, никак не мог оторвать взгляд от тугого мерзкого шарика, который содрогался в такт голове, и, казалось, вот- вот или лопнет, брызнув дрянью, или оторвётся и скатится; было трудно отвлекься от этого маленького уродства, — мерзость, знаете, иногда, как и красота, тоже завораживает. И только с опозданием стал я прислушиваться к звукам, извлекаемым из пианино. Вообразите, представьте: словно на гладь воды капнули каплю одной краски, а в стороне от неё — капли других цветов, и художник стал, бауаясь, вырисовывать из этих капель причудливые узоры. И эта меняющаяся картина становится всё необычнее, всё занимательнее, и ты уже ждёшь, что же дальше. А Моцарт входил в раж. Он словно почувствовал свою территорию, как чувствует её матерый зверь, и этот играющий зверь, валяжно прогуливаясь по своему лесу, принюхивался к золотым растениям и те роняли золотой пылью волнительные облачка звуков, вроде простые, незатейливые, но подхваченные невидимыми скрипками, эти облачка сливались в свободную, воздушную мелодию, поднимаясь выше и выше... Знаю, какими бы словами я ни описывал услышанное, а всё равно слова это только слова, надо было стоять рядом и слышать то, что вытворяла и творил стареющий вечный ребёнок Вольфи Моцарт.

И опять я увидел пропасть.

Мои уши и глаза были открыты, но всё внутри меня стянулось в тугую, душащий, мучительный комок. Не приведи, Господи, думал я, взывая к высшей справедливости, никому из нас, кто жаждет свершений и славы, на кого уповают родные и близкие, не дай, боже, оказаться и жить нам рядом с гением! Потому что даже если мы талантаивы, то мы всего лишь талантливы, и гений рядом, пусть и не желая того, а просто забавляясь, играючи погасит, сделает смешными в ненужности наши геройские усилия и дерзновенные мечты, и наши руки опустятся, и жажда иссякнет неутолённой, и ничего не будет светить нам, и сгорим мы забытым пеплом в сиянии гения, как если бы Земля сторе́ла бесследно, приблизься она к Солнцу. Рассели, о Господи, всех гениев на далёком, недосыгаемом, неведомом острове и пусть там, вдали от земных людей, устремляются они ввысь, поют друг другу осанну или пожирают друг дружку. Но отдали их от нас, Господи, чтобы не кололи наши глаза своим нестерпимым светом.

Не сомневаюсь: даже пьяный, Моцарт понял, что случайно набрёл на сокровища, на райскую, сказочную долину, он ждал этой непредсказуемой музыки, ждал и дождался, и теперь улавливал, запоминал её аромат всеми порами, и в скором будущем, — может, уже в завтрашнем сочинении, в завтрашних нотах, — эта мелодия, развитая, насыщенная, прозвучит во всём блеске.

Моцарт закончил, все замерли впечатлённые.

— Bravo, bravo, — раздалось позади нас. Сальери, подняв ладони на уровне лица, поаплодировал; никто не слышал, как он зашёл своей мягкой кошачьей поступью. — Но, господа, пора бы и честь знать, сторожа жалуются. Да и маэстро Моцарту с утра в дальнюю дорогу.

— О, наш господин капельмейстер, — воскликнул Моцарт, пьяно шагнув к столу с яствами. — Давайте вот ещё выпьем с вами, и всё, и по домам.

Схватив зелёный кубок и даже не глянув, не осталось ли там чего, Вольфи протянул его к Сальери. Но у капельмейстера был непреложный принцип: не участвовать в спаивании музыкантов, вино он демонстративно никому не наливал и даже не передавал, поэтому к полупустым бутылкам не прикоснулся, а сам угостился лишь пирожным. Тогда Моцарт сам налил себе вина из разных бутылок, поставил кубок рядом с собой на тумбочку, на свои открытые ровно посере́дке ноты, потянулся за закуской — и в итоге, жестикуюлируя, опрокинул кубок, но удержал от падения на пол, с радостным возгласом: «О, поймал, видели, видели? И кто тут говорил, я пьяный?» Однако смешанное красное вино залило раскрытые ноты партитуры, обе страницы сдвоенного листа.

Глянув на испачканные ноты, Сальери призадумался, с осторожной аккуратностью разогнул скобки и, открепив оба средних листа, сказал: «Репетиция завтра утром будет по расписанию и, увы, без автора, без маэстро Моцарта, но эти его ноты надо бы переписать.»

Капельмейстер изучающе посмотрел на всех нас, его взгляд остановился на мне.

— Слава богу, и трезвый есть... Дружище, — сказал он немного смущённо, — вы у нас мастер по части нот, не поможете?

А Моцарт дурашливо прокричал: «Только ничего от себя не добавляйте, мне таких подарков не надо!» И все засмеялись, а поскольку были пьяны, то засмеялись совершенно развязно, и даже те, кто говорил мне весьма лестное о моих сочинениях.

— Да, конечно, — кивнул я, не поднимая глаз. Потому что боялся выдать себя: мои глаза наверняка налились кровью, у меня застучало в висках. Это было за гранью. Мне предлагалось поработать вместо штатного переписчика нот, чужих нот. Всё равно, что офицеру-дворянину, лишь потому, что он образован и трезв, предложили бы исполнить работу полкового писаря.

Когда остальные с пьяным гомоном отбыли, я, сдерживая негодование, отправился к кабинету капельмейстера с твердой решимостью отказаться — под любым предлогом — от копирования испачканных чужих нот. Улышал издалека экспрессивную музыку. Сальери что-то наигрывал на фортепиано, — наверно, подумал я, — вдохновлённый экспромтом Моцарта. Но нет, в музыке Сальери снова вырастали скалы, в которые бились неустойчивые высокие волны, а меж скалами грохотали грозы и молнии, и там не было трепетных мотыльков, — потому что мотыльки до скал не долетают. Нет, вовсе не Моцарт был вдохновляющим образцом для Сальери.

Я подождал, вспомнил, сколько раз стоял вот так же возле кабинета Сальери, только в роли просителя, с моими нотами, вспомнил — и поплёлся восвояси: глупо теперь строить из себя невинность и ерепенить-ся, поздно.

Дома пахло гадко, не выветрился ещё тошнотворный, жирный запах мази, — очевидно, недавно растирали больную спину отца. И я проследовал в своё укрытие, в тихую, ночную комнату. В безопасной домашней обстановке я мог позволить себе то, что из осторожности избегал на пирушках в театре, — пить вино без оглядки. Но вначале мне предстояла кропотливая работа. Зажёл в комнате все свечи, и всё равно было тускло. Переписывать ноты при ущербном свете, притом чужие и замаранные, — проблема, нужны предельная собранность и внимание: малейшая неточность в написании, хоть чуть-чуть, хоть самую малость подвинул ноту вверх-вниз, и звук отскочит аж на полтона, фальшь услышит даже глухой. Тем более, это ноты самого Моцарта, он по возвращении высмеял бы меня при всех, как последнего дурачка, обсмеять он умел, у папаша, поди, научился. И мне, словно ювелиру, пришлось разглядывать ноты под винным пятном сквозь увеличительное стекло, а то и просто угадывать, мысленно их распевая. К тому же, если на строке не хватало одного такта для завершения фразы, Моцарт продлевал нотоносец за поля, и я не знал, как мне поступить: ужать ли ноты или скопировать манеру автора? А ну как не угодишь? Как ещёотреагирует капризник Вольфи, когда вернётся, не съест с потрохами? Решил всё-таки скопировать, к чему искушать судьбу. Пришлось, на всякий случай, переписать и обратные стороны листов, но там было всё понятно.

Проканителился изрядно и, только тщательно сверив и перепроверив ноты, отодвинул чернильницу с пером, отмаялся. Дошёл, наконец, черёд и до вина, оно было припрятано в шкафу, за кипами нот, ещё недавно довольно разнообразное, под разное настроение, но домашние, найдя мой тайник, молчком оставляли там не более двух-трёх скромных бутылок; я же, избегая занудства жены, делал вид, что не замечаю вторжения в мои владения, — ладно, хватало и этого, да и рискованно переусердствовать в питье, если на следующий день надо играть то на репетициях, то на концертах.

Мне не нужны были красивые бокалы: я не смаковал вино, я его просто пил, без манерных вещей, из горлышка, и наощупь ставил пустые бутылки на пол, почти впритирку, но без звяканья, давно научился.

Было тихо, потрескивали свечи, безмолвный клавесин словно поманил к себе. Как там у нас сочинял непревзойдённый корифей Вольфганг? Кажется, так... И я, подобно Моцарту, ткнул носом в середину клавиатуры, а пальцами забегал возле крайних клавиш. И мне самому понравилось, я словно погружал голову в приятную воду, даже увлёкся. Но скрип двери вернул меня в действительность и, очень надеюсь, скрюченный отец, входя, не успел увидеть моих глупостей, потому что я сразу вскинул голову и обернулся.

«Болен? — недоверчиво спросил отец, придерживая обеими руками поясницу. — Пьян?» Он заметил открытые ноты, по почерку не мои; увидел такие же, высыхающие, но старательно переписанные моей рукой,

— от цепкого взгляда отца то, что связано с музыкой, не ускользало. Он посмотрел на меня сквозь очки с изумлённым, униженным страхом, словно перед ним оказался не я, его сын, а некий воровато пробравшийся в дом мой двойник-незнакомец, который, пугая, замахнулся на него, беззащитного старика. Его губы задрожали, как у готового расплакаться обиженного ребёнка, наверно, он хотел что-то сказать, но так и не сказал, и, повернувшись ко мне спиной, обречённо побрёл на выход. Он понял моё падение.

Я хотел было крикнуть ему вслед: «Это ноты Моцарта!» Но не крикнул. Вдруг моё унижение, которое сполна, снова и именно сейчас я осознал под строгим, отчаянным отцовским взглядом, сдавило горло, и мысли, которые я отгонял, сосредоточенный на переписывании нот, теперь хлынули на меня, словно прорвав плотину.

Как там сказал Сальери? Я — мастер по нотам? А на другое, значит, не стою? Ладно, господин Сальери, ладно. А пьяненький Вольфи? Чтоб я ничего не добавил, ему таких подарков даром не надо? Ну, ну... Дело даже не только в их подленьких словах, а в том, что они думали обо мне тогда, и как это отозвалось среди остальных, в гнусных ухмылках и переглядках, чего ж не потешиться за чужой, за мой счёт?

А меня-то, простофилю, тешила надежда: я возле двух гениев — Третий, ведь как никто другой, понимал их обоих; ещё немного, и вникнув, разгадав тайну быстрых правок Сальери, я и сам сочиню гениальную музыку, и тогда, овеянный славой, по праву займу место рядом с Моцартом и Сальери, пусть я и не такой яркий, как они, ну и что? Даже в древнем мире бывали триумвираты: трое властителей правили своим царством или империей, быть третьим — почётно и достойно. Но вот быть четвёртым, — или пятым, десятым, там уже всё равно каким, — лучше не быть совсем, не быть вообще, не мучиться. И каким был для них я? А, выходит, никаким, так, «чего изволите,» тенью, послушным молчуном. Никем. Да, пусть я спотыкался в творчестве и неудачи преследовали меня, а у кого не случалось кризисов? Гарантий нет ни у кого, это ж искусство. Но во мне жила мечта, коснуться вершины, и звала, направляла меня, держа в узде и сберегая, пробуждая силы. До рокового сегодняшнего вечера. Пока двое великих убийственными своими насмешками не вынесли мне — так, походя, между прочим, — приговор, безжалостный, смертельный. И сами же выбили шаткую опору, надежду, из-под моих ног.

И всё-таки какой я был доверчивый слепец! Думал, они — моё Alter ego, моя другая душа. Наивный: они — Двудикий Янус, Антонио Моцарт — Вольфганг Сальери, Вольтонно Моцальери, можешь кувыркать, встряхивать их имена, как игральные кости в стакане, а выйдет всё одно — выйдет кентавр, самонадеянный, не ведающий греха, признающий только безнаказанную силу своего величия и славы. И, попробовав раз, он будет и дальше без зазрения совести, шутя, топтать меня, топтать, топтать и снова топтать, словно безликую траву, — а что им со мной чикаться, я ж для них так, не пойми что, нотный писарь.

Закрыв глаза, я до боли стиснул веки, настолько невыносимо было моё отчаяние: никто никогда в жизни не оскорблял меня так, как эти... эти двое. В сгустке темноты за сжатыми веками передо мной кометой проплыло продолговатое бледно песочное пятно-клякса, и замерев, зависнув чуть сбоку вверху, загорелось зелёным цветом. Оно было совсем рядом, и если бы я поверил в его реальность, в его осязаемость, то мог бы, протянув руку, поймать его, как дети в парке ловят летящий тополиный пух. Возможно, и раньше подобное происходило у меня перед глазами, а я не обращал внимания, но теперь это яркое пятно появилось неспроста. Это был знак. И я, хоть и не склонный к мистике, напряжённо следил за пятном как заворожённый.

Странно: такого же цвета был и кубок, опрокинутый Моцартом. Похоже, это видение оттуда, из сегодняшнего моего унижения... И в подтверждение пятно изнутри медленно наполнилось розовым, — как пролитое вино. Что бы это значило? Выпить ещё, напиток, и оскорбление, унижение растворится в вине, и всё забудется, будто ничего и не произошло, в беспамятстве утешение? Ну уж нет, это просто, но не для меня. И розовый цвет кляксы изменился на более тёмный, на пурпурный, на красный, похоже на пятно крови. Красное пятно взывает к крови? Я должен пролить их кровь, и Моцарта, и Сальери? Даже если это предположить — то как? Мы не дворяне, не офицеры, мы музыканты, я не могу вызвать их обоих на дуэль и убить по закону чести, да и они бы охотно и с ухмылочкой, с издёвкой извинились, а я бы в глазах других выглядел ещё больше обиженным ослом... И что? У легендарного Рогового Зигфрида и то нашлось уязвимое место, хоть и крохотное, но роковое, так неужели Сальери и Моцарт совсем неуязвимы?

Без трагических случаев в больших музыкальных театрах не обходилось. Нередко — из-за декораций: времени на их установку обычно в обрез, особенно сложных, многоярусных, — вроде балкончика, запахнутого окна, откуда младая дева отзывается арией на серенаду возлюбленного, или грозное облако в самом верху, из-за которого якобы звучит суровый глас неумолимой Судьбы, и прочее подобное. Опоры там хлипкие, ненадёжны, держись крепче и не оступись. Вот и случались падения, с коротким изумлённым вскриком, и рабочие сцены сваливались, и артисты, и насмерть тоже, было. А Сальери, кстати, сам проверял декорации, сам забирался на верхотуру. Но лазил он по верхним ярусам, как кошка, как цирковой акробат, наверно, наловчился в своём разухабистом детстве, не сорвётся, хоть и толкни его незаметно. Всё не то...

Я открыл глаза. Слегка потрескивая и совсем догорающая, свеча бугрилась оплавленными горками на бронзовых чашечках, однако взамен я разжёл только одну свежую свечу, мне хватало полумрака. На столе стояла тяжёлая пивная кружка с барельефом Венского оперного театра. Приложил эту пустую кружку ко лбу — и ощутил её зябкий, глубокий, почти ледяной холод: похоже, у меня был жар, горячка, но голова, несмотря на выпитое, была совершенно ясной...

Я испытывал даже удовлетворение. Как внезапно прозревший, узнавший истину, пусть и ценой невыносимой боли, горькую истину. Иллюзиям не осталось места, и правда проступила спокойно, ясно, беспощадно. Мои кумиры предали меня, небрежным словом ударили наотмашь, но вторую щёку я не подставляю, не дождутся, нет, господи гении, плохо вы меня знаете. А за оскорбление надо ответить, кровью.

Сальери, помнится, идя тогда на работу по сомнительной пахучей улочке, едва не столкнулся с молодым пьянчужкой, увернулся. А ведь мог и под дилижанс угодить, под колёса, под копыта, только б успел ножками дрыгнуть, — и всё, и нету господина капельмейстера. Разве такое совсем уж невозможно? Возможно... Но это надо ещё суметь, чтоб вроде как случайный пьяница, и чтоб всё незаметно. А ну как заметят, скрутят, опознают? Что станет со мной — понятно, а не со мной?

Слышала наставления жены для старшей нашей дочки, девочки-подростка, которая уже превращалась в хрупкую юную девушку. Для убедительности супруга взяла со столика красивую хрустальную пирамидку, — занятная безделица, чуть повернёшь, играет светом, — и говорит: «Вот смотри, что такое приданое девушки. Вот эта грань — непорочность, невинность, даже взгляды, переглядки с мальчиками — ни-ни, никаких разговоров, никаких улыбок, только с моего и папиного разрешения. Вот эта — воспитание, манеры, вкус в одежде, умение держать себя в обществе. Поверь мне, если девушка выглядит аристократкой, то она ею когда-нибудь непременно и станет.» Эти слова жены меня тогда развеселили: неужто в голове женушки бродят эдакие фантазии с амбицией? Но перебивать супругу не стал, а жена продолжала: «Вот эта грань

— умение вести хозяйство, быть внимательной ко всему в доме, даже к мелочам. Если эти три стороны, три достоинства у девушки есть — обязательно, даже не сомневайся, найдётся и приличный, состоятельный жених из хорошего круга, надеюсь, вполне молодой. И вот у нас с тобой осталась ещё одна грань — финансовая сторона. Это приданое у тебя тоже имеется. И прибавится, девочка моя, если перестанешь тратить монетки на разную детскую, девчачью ерунду, а будешь откладывать денежку на будущее. Всё понятно, милая?»

Только жена забыла, не удосужилась рассказать о ещё одной грани, на которой держатся остальные, — об опоре. А опора эта, если подумать, — сами родители и их репутация. В винных погребах иногда замечал я на коленях у пьяни весьма приличных с виду девиц, пока не спившихся, но вопрос только времени. Свои пальчики они не облизывали, губки вытирали не рукой или рукавом, как иные прочие, а с манером, платочком, уголком промакивали, и по нежным, не испитым ещё личикам да даже по речам девиц я угадывал: воспитание они когда-то получили вполне приличное. Может, и музицировать умели, и языки знали, и вот, пожалуйста — теперь ниже некуда, в пьяной яме, в прокуренном винном погребе. С чего бы вдруг? Раз поинтересовался у полового об одной такой красотке, молодой особе с большими печальными глазами; она заглядывала сюда во второй раз, заказывала чуть-чуть вина и цедила его долго, присматривалась к окружающим с осторожной улыбкой, изучая непривычный для неё мир, но от развязных приглашений с соседних столов вежливо отказывалась. Пока. И что же привело, затянуло её сюда? А половые о клиентах много чего знают, и от других, и разговоры слышат, не зря ж они, половые, частенько и глаза, и уши полиции. И ответ полового уже предугадал я сам: отец девицы всему виною, родимый батюшка! Рискнул, проворовался, сел за решётку, и всё, и посыпалась прахом судьба любимой дочурки! И куда деться воспитанной дочери? Приличный господин уже замуж с таким пятном не возьмет, слухи насчёт тестя, кандального её папеньки, самому жениху и жизнь испортят, и карьере, таких невест обходи стороной! Может, и подалась бы девица в поломойки-посудомойки, а непривычная ж, воспитание-то другое, тонкое, сублинное, не для грязной работы. И куда ещё? В белошвейки? — так и там горбататься, ломай глаза с рассвета дотемна, пока не ослепнешь, и ещё кланяйся шипящим, надменным дамочкам, которым повезло в жизни побольше. А музицировать да знать, как и каким столовым прибором что есть, — уже не пригодится, ни к чему для жизни за бортом, уже всё, уже без надобности, забудь, цацкаться никто не станет! И дорожка тогда одна — в лучшем случае, если повезёт и повезёт сказочно, несказанно, — в куртизанки, в кокотки к богатенькому и, хорошо бы, старенькому да дряхленькому, чтоб не спешил заменить на новую, посвежее, и спрячь, проглоти слёзы, блести отчаянно счастливыми глазками, хоть всё равно потом скатишься, свалишься в пьяный погреб, к случайным дружкам, пойдёшь по рукам да коленкам, есть-то хочется, да ещё каждый день, — и пошло, поехало, известное дело. А там и последний приют — канава, прежде казённой могилы безо всяких имён, дорожка известная.

Нет, я не мог так рисковать будущностью моих девочек. Значит, красное пятно означало не кровь. Но что же тогда?

Я снова зажмурился. Пятно опять появилось или не исчезало вовсе, только подвинулось ближе к моей переносице, и его гладкий эллипс ещё ярче полыхал красным. Словно налитый кровью глаз пристально вглядывался в меня... И вспомнил, я вспомнил! Недавно, на днях, рабочие... Они переносили в опере высокий шкаф на ножках, зацепили настенный термометр и уронили на пол, под шкаф. Доставать отказались наотрез, ни за какие деньги, твердили, что красная ртуть в разбитом термометре всё равно что смерть, и эти препирательства продолжались, пока

не пришёл знающий человек, механик — он занимался опусканием и подъёмом люстр. И он объяснил: в настенных термометрах никакая не красная ртуть, а всего лишь подкрашенный спирт, а вот настоящая, неприметная, серебристая, почти бесцветная ртуть — вот она смертельно опасна, даже шарик меньше булавочной головки, который может закатиться куда угодно и начать испаряться. Потому что это яд. Вот я и вспомнил то слово, пугающее своей крадущейся, затаённою угрозой: яд. Он мне и потребуется.

Эх ты, а что это вы, любезный, скривились, что за гримасы? Неужто презираете? Вы? Меня? Думаете, заперты тут, в больнице, как жук в коробке, и страдаете? Да ваша болезнь — сон безмятежный, вы и понятия не имеете о страдании, я уж не говорю о муках творчества, я вообще. Как объяснить вам доходчиво, каким примером... Возможно, была и у вас какая-то своя жизнь, раньше, прежде, женщины, то, сё, и вы поймёте. Ну вот, скажем, человек: семьянин, семья, жена обожает, детишки, лучше не пожелаешь, блаженство. И вдруг слышит случайно: жена вовсе не любит его, у неё есть другой, любовник, с самого начала, а его только терпит, сплошь притворство, так ведь удобнее, всё обман. И вот в чём парадокс. Не услышь он этих слов — был бы счастлив, каждый день и по гроб жизни, но вот услышал, понял — и никакого уже блаженства, никогда, и весь смысл пропал и прежнего счастья, и нынешнего, одна ложь, в один миг. Понимаете, о чём я? Человек верит, не сомневается, надеется и всё время живет этой надеждой, а ему однажды намекают яснее ясного: всё впустую, ты был просто дурак. А? Ну-ка, ну-ка, не отводите глаза... Я не злодей с ножом, не упырь, но Моцарт и с ним Сальери, с их пренебрежением, оскорбили даже не меня — мало ли нас всех случайно оскорбляют, хоть разная пьянь на улицах? — они оскорбили смысл всей моей жизни, с моими устремлениями, с жертвами и мечтами, от моего рождения до нынешнего дня. Или гениям всё позволено, пусть швыряют в другого камни — им всё простится? Нет, дружок, пожнут бурю. Я не раб, и никто не дал гениям право на плеть.

Как там называется: Casus belli, повод к войне? У меня он появился. И я должен был всё узнать о ядах. Зачем? Да хоть из любопытства, изгиб мысли, забава для заскучавшего ума, имею же я право хоть иногда развлечься? Я не думал — по крайней мере, в тот час, — о реальном преступлении, вернее, о подобном...э-э... неподобающем поступке, но одна мысль, что при желании, не привлекая внимания, смогу отомстить за оскорбление и отомстить жестоко, — эта мысль успокаивала меня, утешала, распрямляла плечи и тайной своей силой даже как бы приподнимала над моими обидчиками. Повторяю, всего лишь игра ума. Игра, которая только начиналась. Как пафосно говорилось в старинных пьесах, жребий брошен.

И в ближайшее подходящее время я отправился на блошинный рынок. Здесь в шатких столах, на скособоченных ящиках, на продавленных досках, чуть прикрытые от яркого солнца холстинами, тряпицами и лянальными платками, стояли, лежали, прижимаясь, а то и наползая друг на дружку, кожаные кисеты, картины в треснутых рамах, курительные трубки, и глиняные, и из тёмного дерева, фарфоровый Будда с возвращённой на место и приклеенной равнодушно-улыбчивой головой, обсыпанные бисером сумочки для дамского рукоделья, разномастная посуда, выцветшие куклы бибабо с неумело подкрашенными губами и бровями, яркие чехольчики для огнива, расписной оловянный солдатик, усатый командир с ножнами, — правда, уже калека, уже инвалид войны, с поднятой рукой без кулака и сабли, которою он, наверно, увлекал остальных в атаку за собой; были резные, из белой матовой кости, индийские слоники, мал мала меньше, бредущие друг за другом, и всякая, всякая всячина, и будь я сейчас ребёнком, и будь у меня на то право, целый

бы день простоял тут и разглядывал бы все эти богатства, лучшего и не пожелаешь, так мне этого не хватало в детстве. Были здесь и книги, на немецком, на французском, на латыни, но та, что меня действительно интересовала, на глаза не попадалась, если вообще была здесь.

«Что ищете, сударь?» — неслое услужливое со всех сторон, но ведь не крикнешь, не объявишь во всеуслышание: «Да мне бы про яды...». Лучше уж, опустив пониже шляпу, самому поискать, не торопясь, без лишнего шума. Однако нужного не находилось. Я дошёл до конца, и там хозяин двух заваленных старыми книгами столов, рыхлый, неопрятный, радушно осклабился гнилыми зубами. «Господина интересует что-нибудь такое-эдакое? — Доверительный полусшёпот торговца был сама задушевность. — Ночи Клеопатры, бездны порока? Сдаётся мне, господин читает и по-французски? Пожалуйста: месье Вольтер, «Орлеанская девственница», а вот пикантная «Наложница Жеводанского оборотня. История в картинках». Есть и совсем свеженькое из Франции, тайные записки, с пылу с жару. Новый автор, маркиз де Сад, слышали о таком? Щекотливое чтение, прямо обжигает, как, а? Ну хоть наметните...». «Намекать мне не хотелось, не собирался, и вдруг на чёрной, в паутине сгибов, обложке, слегка прикрытой углами других книг, мелькнуло: «...ория ядов и вели...» Взволнованный, вначале я, сдерживая нетерпение, взял для отвода глаз соседние брошюры, тоненькие, а значит, и дешёвые книжицы, одна про посадку садовых деревьев, а другая — вообще ерунда, даже не помню точно, что-то про водоснабжение, с совершенно непонятными рисунками; я с деловым видом отложил их в сторону друг на дружку, и только потом, как бы невзначай, ненароком извлёк ту чёрную книжку, уже изрядно потрёпанную и затасканную.» История ядов и великих отравлений.» Мой поход оказался ненапрасным, единственно это и было мне надо. Открыв книжку наугад, я изобразил снисходительную, небрежную усмешку: «Занятно, можно полистать на досуге... Пожалуй, тоже возьму. Сколько с меня?» Но торговец уже вцепился в меня хищным взглядом оценщика и назвал, заломил цену с потолка, просто абсурдную. Я отложил в сторону две брошюры: «А так?» И он назвал ту же самую сумму. «А это, — широко дохнул он смрадом порченных зубов, кивнув на брошюры, — в придачу, в подарок, от чистого сердца, исключительно из уважения к вам, господин хороший! Читайте на здоровье!» Он откровенно ёрничал, поняв, что для меня главное, и было бы неосмотрительно возмущаться, торговаться, а значит, и привлекать к себе излишнее внимание. Прежде я наблюдал разных торгашей и не сомневался: этот дурашливый с виду прохиндей может и разораться, нарочно, — мол, посмотрите-ка, люди добрые, на покупателя: неизвестно зачем интересуется тут втихаря ядами, а всё бы ему ещё и задаром! И куда деваться? Я выгреб почти все деньги из кошель, уходил, мысленно ругая себя за дурацкое, безрассудное расточительство, а потом ещё и припустил с рынка побыстрее, шёл и оглядывался, опасаясь, что ушлый торговец выследит меня, так, на всякий случай, — а ну как удастся ещё извлечь барыш из моего странного интереса к ядам?

Зато вечером, когда все улеглись спать, я в тихой комнате остался один на один со странной, подозрительной книгой. Обычно внимательно я смотрю ноты, изучаю книги по музыке, изредка читаю газеты, но до чтения всего прочего, скажу откровенно, не охоч, не любитель. Хотя, может, и приятно, и любопытно, эдак расслабляясь, полулёжа, читать философский труд или романтическую повесть. Не зря же между строчками в книгах, несмотря на дороговизну бумаги, есть немалые, неэкономные просветы, — наверно, чтобы задуматься или, как говорят, прочесть между строк. Однако у меня не оставалось времени на чтение чужих мыслей и выдумок, мне с лихвой хватало собственной кропотливой и непридуманной жизни, а заодно и наблюдений за суетой, за повадками людей вокруг, это поинтереснее любых сочинений, и повод для философии найдётся.

Но эту книгу с подклеенными корешком и обложной, со следами отогнутых уголков почти на каждой странице, с оттисками-царапинами чьих-то ногтей или коготков, с восклицательными, вопросительным и иными знаками от предыдущих читателей, — эту истрёпанную тёмную книгу я читал в тихой комнате запером, на одном дыхании.

И сразу же, с описания «Сада ведьмы» и колдовских снадобий, поразился, сколько вокруг сокрыто яда, а нам, смертным, и не ведомо. Прелестный аконит, нежные сиренево-фиолетовые цветы на высоком стебле, — мои дочери нередко добавляют его в домашние букеты, — оказывается, символ Гекаты из древних мифов, покровительницы колдуний и повелительницы смерти: его сок, раскачивая биение сердца, вызывал у ведьмы ощущение полёта над миром, а у её жертвы — падения, прямо в смерть. Или вот болиголов, — и у речки его заметишь, и на болотине, скромный, совсем неприхотлив, — цветочки белые в зонтиках, сама кротость невинная. Но, отведав его корневища, домашний скот околеваает, бьётся в конвульсиях от удушья, да и людям на погибель сгодится: именно ядом цикуты, болиголова, казнили упрямого старика Сократа. Милые цветочки... О грибах, хоть ложных, хоть непонятных, и говорить излишне, не заметишь, как и сам дуба дашь, отравишься, — «Сад ведьмы» весь благоухает ядом! А ещё в меню яды змей, скорпионов, саламандр, жаб, морских гадов, даже гниющая бычья кровь, — на любой вкус, чего изволите, доверчивые жертвы? И какие всё знатные повара: Нерон, Калигула, Агриппина, семейство Борджиа со святейшим Папой во главе, Екатерина Медичи, королевская фаворитка де Монтеспан, и прочие, и прочие, — разве не честь удостоиться их высокого внимания и любезной отравы?

Слышал, есть такая английская теория, невероятная, но будто бы учёная и даже доказанная опытами: якобы предметы, тела всякие, хоть и неживые, неодушевлённые, даже тяжёлые, притягиваются друг к другу. Только на живых людей теория не распространяется.

У людей — наоборот, особенно на самом верху, всяких подлых историй — как змей в гадюшнике. К чему яростные битвы, дуэли и шумные скандалы, если есть радушные угощения, книги, табак, благовония, ключи, дверные ручки, «перстни смерти», и многое разное, — только добавь яда? И да будет земля пухом ненужному сопернику! Кто-то из венценосных господ умертвил отравой всего лишь одного человека, стоящего на пути к великой цели всей жизни, к трону, и потом прослыл мудрым, благородным правителем и праведником. А кому-то одной жертвы показалось маловато. Некая мадам, маркиза, — то ли де Бринье, то ль де Бренвилье, уже не важно, — благодаря «порошку наследования» избавилась от родственников, овладела их имуществом, но не остановилась. Увлёклась, знаете, вошла во вкус, травила всех, кто под руку подвернётся, в основном своих собеседниц, тоже дворянок, и уже не из корысти вовсе и безо всякой злобы, а из любопытства, пробуя всякие яды, получится — не получится; ну а чтоб не забылось, — почитать да освежить воспоминания на старости лет, — записывала свои тайные подвиги в дневник. Дневник её потом и подвёл, да и подозревать уже стали. И итог: маленькое тело обезглавленной маркизы бросили в огромный костёр, — даже похоронить было нечего.

Яды же становились всё изощрённее, а названия, словно у изысканных духов, всё романтичнее: скажем, «Лунный купорос», весьма популярное в своё время средство от неудобных людишек. И, наконец, апофеоз долгих поисков, самый впечатляющий бутон ядовитого плюща — непревзойдённая aqua toffana, по виду, по вкусу и запаху, — чистейшая, прозрачная родниковая вода, но мизерная её капелька — и смерть гарантирована, не сразу, через недельку, от воспаления лёгких, и никаких болей в желудке, а значит, и никаких подозрений, идеальный яд!

Впечатляло... Приблизив книгу к догорающей свече, я вдруг заметил после некоторых строк затенённые крохотные вмятинки с бледными

разводами вокруг них — похоже, это были точки от карандаша, тщательно стёртые потом хлебным мякишем. Пробегаю взглядом назад, — и обязательно в тех строчках обнаруживается слово, а то и несколько, помеченных тоже точками. И помечены были не броские, яркие словечки, изысканной речи, — позабавить знакомых жуткими историями отравлений, — а совершенно обыденные названия растений, которые попадают в нашей скромной природе, аптечных лекарств и пропорции, доли, соотношения: рецептура ядов.

Хотелось бы мне увидеть лицо этого загадочного, скрытого от света господина, заглянуть в его глаза, в расширенные от жадного любопытства тёмные зрачки, когда он штудировал опасную, уже пропитанную ядом, ветхую книгу. Выбрал ли он уже тогда цель, жертву своих смертельных знаний, обдумывая каждый свой незаметный шаг на подступах к жертве и при отходе от неё после содеянного? Наслаждался ли заранее риском затеянной игры, риском быть уличённым и справедливо наказанным, с позором на весь белый свет, с показательной, жуткой, устрашающей казнью? Интересно... Но раз книга оказалась на рынке, значит она ему уже без надобности, свои следы с книги он стёр. А с места преступления? Совершил ли он своё замаскированное убийство и ходит ли теперь по Вене, поглядывая в лица и в окна горожан? А может, это не мужчина, а светская дама, эдакая весёлая щebetунья, и не подумаешь...

Голова шла кругом от прочитанного, словно я сам уже надыхался дурманом чёрной книги. Но раз уж прочёл, потратил время, надо додумывать до конца, это ж логично: не ребёнок ведь, стал играть — и сразу бросил? А тогда... где достают, как добывают эти яды?

Впрочем, один яд имелся даже в театре и при надобности применялся в убойном количестве. Мышьяк. И надобность в нём появлялась чаще, чем всем бы хотелось.

Если вдруг в театральном коридоре какая-нибудь дама, посетительница срывается на истошный крик или падала в обморок, если туда, расталкивая всех с тысячей извинений, семенил суетливый администратор, — значит, снова дали о себе знать вездесущие мыши. И скорее всего не пуганная суровой жизнью мудрая, взрослая особь, которая тихонько, вдоль стеночки, прошмыгнула бы незаметно, куда ей надобно, а совершенно глупый, махонький, горбатый мышонок, которому про страх ничего пока не известно, не ведомо. Твари покрупнее тоже водились в достатке. Однажды мы репетировали в свободной комнате театра возле кухни, и вдруг наш «английский рожок» закашлялся, а потом и все мы, хмыкая, бросили играть: из угла комнаты, сидя, как белка, на задних лапках, на нас уставилась небольшая рыжеватая крыса, слушала. Дирижёр, увидев, куда мы все смотрим, обернулся, топнул на хвостатую слушательницу ногой, и та, судорожно извиваясь телом, вползла обратно в щель под паркетом. «Ну вот, — сокрушались мы весело, — хоть кому-то понравилось, что играем, и так невежливо прогнали!» Потом рассуждали, что у птиц, раз они любят петь, наверно, есть музыкальный слух и вкус, а вот у грызунов? Но по крайней мере мне в дальнейшем музыкальные крысы не попадались, — наверно, эта была отщепенкой и музыкального потомства после себя не оставила, — зато остальные её соплеменницы нахально шныряли и под полом, и по полу в поисках чего бы хапнуть.

Ради борьбы с грызунами, — а вернее, чтоб побаивались и не слишком нагнали, — в театре содержалась орава якобы тщательно отобранных котов-охотников. Этих, так сказать, охотников нам доводилось видеть, когда вечером после ухода публики мы задерживались в театре на пирушках по уважительному поводу. Коты с любопытством разбредались по театральным коридорам, — трудно ж целый день валяться да дрыхнуть, — и, завидев людей, ленивым, неспешным шагом направлялись к нам, стараясь потереться о кого-нибудь. Я аккуратно отодвигал

котов от себя носком ноги, иначе чулок от их шерсти никакой щёткой не очистишь, и коты, не огорчаясь, тут же находили своих поклонниц, женщин, которые брали их на руки, как любимые игрушки или как любимых чад.

Думаю, если б такому пушистому бамбосу преподнесли мышшь даже на блюде, украшенную бантиками, — он только бы протяжно зевнул и пошёл вразваку восвояси. А зачем ему, их и так кормят: и женщины из театральной прислуги, и зрительницы, и танцовки из кордебалета втихаря приносят «бедным котикам» и молочко, и рыбный фарш, и варёную рыбку, да ещё приговаривают: «Косточки я сама выбирала, кушай, пупусик, кушай! Разве мышками-то наешься?» Перекормленного кота потом отдавали в добрые, любящие руки, брали взамен нового, голодного, шустрого, тот поначалу азартно кидался на каждый мелкий шорох в углу, но, немного погодя, развращённый примером ленивых старожилов, и он становился таким же толстым и абсолютно бесполезным. На грызунов же ставили мышеловки и капканы, их от всей души травили мышьяком, нередко сия процедура проводилась разом во всём театре, во всех помещениях и коридорах, и у нас, музыкантов, появлялась чудесная возможность отдохнуть, (правда, в ином случае приходилось играть в других театрах, поскромнее), но проходило время и хвостатые твари опять заявляли свои права в театре. И всё шло по привычному, заведённому кругу.

Что с вами опять, любезный, чего мешком-то валитесь? Устали качаться? Ну ложитесь, полежите, отдохните. Я тогда, достав вино и поставив возле кровати, тоже прилёт, осмысливал жутковатую ядовитую книгу и, немного поостыв, понял: все эти фокусы, потуги с отравлениями в нынешние времена — довольно затруднительны, даже в прошлом откуда-то находились свидетели, пусть и косвенные, кто-то видел, подозревал или подмечал, и в итоге отравителя брали под белы ручки — и в самом лучшем случае дыба, пытки и подземелье без света, до окончания жалких дней, но чаще — жестокая казнь. Это одно. И другое: если б у меня в руках и оказался смертельный порошок или капли этой aqua toffana, в незаметном, крохотном пузырьке, — это только на первый взгляд кажется всё просто. А представишь в подробностях, как пронесишь руку с ядом над пирожным или бокалом, а потом садишься вместе со всеми, делаешь вид, чокаешься, веселишься, а сам ждёшь, когда твоя жертва упадёт, цепляясь за скатерть и увлекая на пол грохочущую посуду, и потом переполох, и начнутся расспросы, кто что делал, где стоял, — и сумеешь не выдать себя? Не уверен.

Но даже если бы яд подействовал не сразу и не указал бы на меня, очень ещё возможно, — скорее всего, так и было б, — в самый последний момент я бы дрогнул, духу б не хватило попользовать отраву, или потом меня бы заела совесть, не в разбойной же шайке и не в сатанинской секте я воспитан. Просто, надо признаться, я тешил свою бессильную фантазию... И как тогда?

Не собираюсь оправдываться, много было б чести непрошенным, самозванным судьям, каких всегда полно среди досужих болтунов, — а я бы спросил каждого: если тебе, уже прожившему половину жизни, почти без обиняков скажут, да пусть даже намекнут, уверенные, что и дурак поймёт, догадается: «Ты никто, в твоей жизни, в твоих мечтах, в твоих усилиях и жертвах не было никакого смысла», и тем самым втопчут в грязь, плюнут в лицо — ты просто утрёшься, мол, ладно, забыли, — и после этого будешь себя уважать? Не-е-е, другие — может быть, а я — нет!

Ни о чём, кроме мести, мне уже не думалось, но ничего не шло в голову. Не пойдёшь ведь по женским стопам? Маленькие женские пакости театральной соперницам были притчей во языцех: там и платья испорченные, изрезанные, и стекло в туфлях, и иголки или тараканы в сценическом костюме, а одна молодая звездочка так сразу и закатилась, вернее, унеслась со сцены пулей, — бедняжке перед премьерой подме-

шали в стакан прохладной сладкой воды слабительного, и после этого одно её появление вызывало у публики смех, прощай карьера. Милые дамские шпильки, однако всё это так мелко. Что я мог предпринять против славного Моцарта: испортить тайком его партитуру, подбросить ему в кабинет живую или дохлую мышшь? Ну поверсит, поорёт на администратцию, и всё на том. И с Сальери то же самое. Выходило, я опять слабак: сочиняю музыку, но моя творческая фантазия столь примитивна, что не способен придумать, сочинить обыкновенную месть?

Мне надо было успокоиться и рассуждать совершенно хладнокровно, отрешившись от постороннего, как в карточной игре, когда на кону баснословная, последняя ставка, а у тебя на руках карты просто дрянь, и единственный твой козырь — соперники не знают тебя, держат за дурачка, ты им неинтересен, зато у тебя было время понаблюдать за ними, изучить их повадки, их норы и нервы, — и если не ошибёшься, твой ход станет решающим, убойным.

Оскорбив меня тогда, Сальери и Моцарт как бы сговорились, но разве меж собою они друзья, приятели? Нет. Знаменитый, оваянный славой Венский оперный театр — место великих амбиций, но никак не искренней дружбы. И господину Сальери, и господину Моцарту вряд ли другие служители муз желали особой удачи, да и всем остальным тоже, — и не от зла, а просто жизнь такая. Это на рынке один горшечник может убраться подальше от конкурента, другого горшечника, в другой край, а на сцене театра тесно, того и гляди сваляешься, вот и толкаются все исподтишка, чтоб себе местечко оставить, самим удержаться. Кого винить?

Я не мог совершить реальных действий против моих обидчиков, в моём распоряжении были только слова. И что оставалось? Попробовать сыграть чужими руками? Пожалуй... И вдруг, как вспышка среди ночной тьмы, меня осенило: за оскорбление меня Сальери и Моцарт сами накажут друг друга! Две марионетки в моём кукольном театре, где я и умелый кукольник, и затаивший дыхание зритель. Один умрёт, другого толпа заклюёт. Один отравит, его ж и затравят. А, разве не гениально? Я разбирал тысячи нот, так неужто не разберусь с парой гениев в роли моих марионеток?

Мои актёры — вот они, кому какую роль доверить?

Антонио Сальери. В прошлом он и Моцарт нацелились на одну должность в Венской опере, капельмейстера. Её по праву занял Сальери и по праву же, в грандиозной Битве опер её отстоял. И как бы Моцарт ни был хорош в последнее время, устраивать ещё одно, повторное состязание между ними Их Императорское Величество не станет: метаться, шараться в предпочтениях — несолидно для Императора, не к лицу. Так что должность Сальери неколебима. Разве что сам он прощтрафится как-ким-то совершенно невозможным образом, но подобное исключено. Это Моцарт сгоряча, в запальчивости мог что-нибудь брякнуть, оскорбить других, а потом ходить виноватым. У Сальери характер иной: скандалы ему — нож к горлу, к себе ироничен, но других не кусает — понимает сын торговца, что от свары проку нет, прирождённый дипломат. Кто лучше всех мог договориться с зарубежными знаменитостями, чтоб приезжали в наш театр с гастрольями? Наш любезник, Антонио Сальери! И Вена всё обстоятельнее, всё заслуженнее становилась столицей музыкального мира, и во многом благодаря именно ему.

Причём, его отношения с Моцартом стали заметно лучше. На репетиции «Волшебной флейты» Моцарта — а присутствовали и музыканты театра, и администрация, и члены монаршей семьи, — Сальери несколько раз приподнимался со словами: «Браво, отменно!», «И это хорошо!» «Чудный фрагмент, замечательно!» Мог бы и промолчать степенно, с достоинством, с умным видом знатока, как важно помалкивали другие, но вот не сдержался в похвалах сопернику, и потом поговаривали, что как раз стараниями капельмейстера Сальери нашему Вольфгангу и звание повысили, и жалованье.

Впрочем, по закону парадокса, пожалуй, именно эти похвалы и хлопоты Сальери — единственное, что можно в дальнейшем, если что, повернуть против него самого: дескать, «он же, господа, как задумал козни против Моцарта, так заранее и постарался отвести от себя подозрения, очевидно же!» А ещё господин Сальери говорит с акцентом, и значит, на слух обыватели Вены воспринимает его всё-таки как чужака. Это про Сальери.

А вот Моцарт, — рассуждал я, бесшумно откупорив очередную бутылку стоящего на полу вина, — вот он сам подойдёт на роль отравителя? «О нет, что вы, глупость какая, зачем ему?» «А я скажу вам, господа, зачем, — завёл я беззвучный спор с возможными оппонентами. — Затем, что Моцарт теперь не единственный любимец публики, их в опере и без него хватает. А за плечами уже почти три с половиной десятка лет, нешуточный возраст, и деньги нужны не только на забавы-утехи, а и семью содержать. И тут место капельмейстера Сальери ох бы как пригодилось. Это вам, господа, не мотив? И потом, Моцарт проиграл Сальери в Битве опер. Напомню, не чиновники, а сама венская публика предпочла тогда итальянца, — незабываемый позор, такого Моцарт ни от кого более не терпел, зарубка на всю жизнь. Чем тоже не мотив? Зависть сильнее осторожности. Да, зависть, господа, зависть! Моцарт, гений порывов, сейчас на взлёте, но, может, уже и на излёте, и понимает это лучше других? Приглядитесь сами: издёрган, держится на нервах, часто бледен, чуть ли не падает в обморок, а силёнки ведь не вечны. Сальери же иной, он гений равномерный, неутомим в поиске идеальной музыки, его паруса всегда наполнены энергией. Вот вам и повод для зависти. Или не так?»

— Ой, да бросьте вы! — возмущались голоса из тёмного угла. — Какой из Моцарта отравитель? Он даже не решится! Вы забыли, Моцарт — вундеркинд, чудо-ребёнок, ребёнком был, ребёнком и остался, взрослый, капризный, а всё равно наивное дитя!

— Что вы говорите... Дитя? Из масонской логи? — безмолвно парировал я возражение, отхлёбывая вино из горлышка. — В Вене есть масонские логи для детей? Не слышал о таких! А насчёт нерешительности маэстро Моцарта... Позвольте возразить, господа адвокаты, Вольфганг у нас бывалый масон, уж более шести годков в фартук обрягается. (Хотя от него вроде бы требуются только песни да кантаты.) Попадалось мне в газетах о вольных каменщиках, весьма занятные вещи: обряд посвящения в гробу, повязки, чёрные маски, ритуалы с черепами, заклинаниями и прочей магией, жуть как фантазию будоражит, и правда, нескучно ведь, — но это так, цветочки. А ещё ступени всякие, титулы громкие, командоры и магистры, — тоже только прелюдия, но главное — другое: клятва перед братьями им важнее клятвы пред Всевышним, и тайну логи хранить, и приказы исполнять без пререканий, согласны даже быть убитыми жестоко, без пощады, в назидание другим, коли сей клятве изменят или ослушаются. Во как! Не у всякой воровской шайки такие порядки заведены, лихие разбойники позавидуют. И пишу так же, что масонские логи в разных городах мира не сами по себе, кто в лес, кто по дрова, а сообщаются скрытно, и над ними тоже есть невидимые дирижёры, хозяева, а возможно, даже и один общий, Верховный Смотритель, который вознамерился исправить грешный мир и потом этим исправленным миром править, по своему разумению. Может, и по-прежнему резвились бы вольные каменщики Вены на загадочных своих вечерах и маскарадах, носили бы при свечах гроб ритуальный с неофитами, и масон Моцарт радовал бы братьев по ложе своими гимнами и кантатами, — да только ведь революция, господа, мир с ног на голову кувыркнулся, во Франции запыхало, а вокруг задрожало да затрещало, и выходит по всем раскладам, самое время вольным каменщикам куш сорвать, горячая страда. А надо передавать братьям масонам сигналы и депеши? Надо, и незаметно, без огласки. Незадача? Ещё какая, вез-

де ж на границах посты, багаж досматривают, документы изучают, в лицо всматриваются, запоминают, с картинками и описаниями сверяют, же подозрительное ли? Но к маэстро Моцарту — какое подозрение, он же знаменитый музыкант, все приглашения — и от каких персон с вензелями! — официальнее некуда, его и досматривать с усердием — уже невежливо, не по-человечески как-то, а лучше сразу под козырёк и пожелать счастливого пути, и катать себе туда-сюда по границам. Скажете, не так?

И потому у масонской братии на маэстро Моцарта особые виды-расчёты, кроме музыки, не шут он для них гороховый, а фигура, да по-лучше почтового голубя и послание доставит, и на словах что надо передаст, — масон же не откажет старшим братьям масонам, клятву ж давал, на крови. Вы не верите в такое? Вы и правда столь наивны? И если я прав, — а я ни на гран не сомневаюсь, что прав, — то Вольфи Моцарт вовсе не наивное дитя, — эдакий что на уме, то и на языке, — а притворщик ещё тот, живущий двойной или тройной жизнью, притом весьма находчивый и проворный, хотя, конечно, эта роль не могла его не напрягать, не истощать. И такой точно не решится обронить щепотку яда на пирожное в тарелке Сальери, незаметно? Вы уверены? Я вот уже и не уверен... Тем более, думаю, тайную войну с миром масоны ведут не только пламенным словом, но и иными средствами, и безупречный яд у них тоже найдется. Конечно, это мои предположения, домыслы, если хотите, игра ума — но так ли уж мои слова, мои рассуждения бессмысленны, безосновательны?

Похоже, у меня опять был жар, но я потирал пальцы от удовольствия, наслаждаясь подобными безмолвными диалогами и собственной логикой, и шёпотом выкрикивал самому себе: браво, бис! Да, Моцарт в роли отравителя будет вполне объясним и убедителен, и даже больше, чем Сальери.

Так, ещё ни разу не обмакнув перо, я уже начал писать партитуру моей мести. И хоть не выспался в эту ночь, но проснулся в приподнятом настроении, что давно со мной не случалось: моя жизнь обрела новый смысл. Я не паук, чтоб плести паутину, не насекомое, — не приемлю для себя таких образов, — я достойнее очень многих людей, в кого бы они ни рядились, но вот сравнение, скажем, с рыболовом меня вполне устроит: ни суеты, ни суматохи, наблюдательность и ум, а удача с умными дружит.

И первым я выбрал Моцарта, как раз для него у меня уже имелась в предостаточном количестве эффектная наживка: мыши!

Поясню. Кто-то рассказывал эпизод из жизни Вольфганга, когда он концертировал в другом театре. Из кабинета Моцарта раздались вдруг истошные вопли, все сбежались, взломали запёртую дверь и увидели: маэстро, упав в кресло, кричал непонятное и дрыгал ногами так, что туфли разлетелись по разным углам. Моцарта отпаивали, не могли успокоить, его выступление пришлось задержать, и едва добились от него вразумительного ответа: оказалось, он поправлял штору на окне, а в складке оказался мышонок, видно, забрался с подоконника, вот и причина истерики славного маэстро.

Все артисты немного суеверны, но у Моцарта был явный перебор: верил, что мыши — призраки, посланники потустороннего мира, вестники беды. А возможно, они были для него олицетворением тихой, но назойливой серости, и не удивляюсь, если и людей вокруг себя он тоже считал серым миром, и это было мне на руку.

Нужен был повод и он не заставил себя ждать. В перерыве репетиции к нам заглянул администратор, сказал: «Господа, уборщица передала мне клавир господина Моцарта, с его правками. Мне сейчас некогда, но если кто пойдёт в сторону нашего маэстро, не передадите?» Администратор — тёртый калач, не зря в своё время — и вовремя! — из не-

удачливых музыкантов удачно перепрыгнул в театральные чиновники, есть у него власть: может и оперного любимца одёрнуть, и музыкантов приструнить. Однако тут он ловчит, бегаёт глазами, и всем понятно, почему: Моцарта администратор боялся пуще огня, избегал даже ходить по коридору с его кабинетом, чтоб нечаянно не нарваться на маэстро и его язвительные реплики. Желающих пойти в «сторону нашего маэстро» среди музыкантов не нашлось — кроме меня.

— О, хоть одно приятное лицо за день! — Моцарт, похоже, искренне обрадовался моему визиту; от его радушных слов тепло и сытно пахло жирком свиных котлет, любимого кушанья маэстро, и сам он был в прекрасном расположении духа, я напрасно опасался. — Да вы заходите, посидите, пунш вот попробуйте, жена сама готовила, имбирный, полезно от лишних нервов, — Вольфи довольно кивнул на пузатый кувшин, который стоял на резной конторке из красного дерева, теснясь между нотами, маленькой иконкой, ожерельем агатовых чётки и потёртой колодой карт Таро, но я вежливо отказался; себе же он насыпал в бокал с водой коричневатый порошок, размешивая который, доброжелательно посматривал на меня:

— Знаете, давно приглядываюсь к вам, и честно скажу: я вас уважаю, честно, без преувеличений. — Он выпил мутный раствор и поморщился с выразительной гримасой, — нет, не из-за ваших опусов, конечно, что нет, то нет, — но вы ведёте себя правильно, понимаете, с достоинством? Не как другие, сю-сю-сю, на вид сплошь благородство, а сплетни собирают хуже пьяных кухарок и по всем углам разносят. А вы словами не бросаетесь, по-мужски, вы...

Он говорил что-то ещё обо мне, уважительное, приятное, как он думал, но я уже не слышал да и не слушал: главное, сразу изгадив мне настроение, он уже произнёс, опять оскорбительно отозвался о моей музыке, о моих творениях, небрежно назвав их опусами, словно рутинную, ремесленную работу, этого предостаточно и начхать мне на его дешёвые комплименты... «А вот любопытно, — подумал я, не подав и виду, — если б я сказал Моцарту: «Вы, маэстро, и все это знают, человек невоспитанный, может, даже и придурок, дурачок, по общим меркам, идиот, судя по поведению, и уж точно, мягко говоря, хамло последнее, но лично мне вы очень, очень симпатичны, поверьте, маэстро, это совершенно искренне, от чистого сердца!», — как бы он отреагировал? Небось, взвился б, до потолка б выпрыгнул, с его-то самолюбием. Нет, такие не поймут, пока собственной шкурой не почувют...»

И теперь был мой черёд. Накануне долго думал и не мог придумать, как бы подковырнуть Моцарта, если окажусь у него, чтоб он запаниковал, пошатнулся на самоуверенных ножках, забыв о надменном своём превосходстве... Не дерзким словом, конечно, — кто я и кто он? — а как-то иначе, но как? Подбросить в его кабинете чуточку чёрного перца (его зернышки напоминают «мышиний горох»)? Вполне себе вариант, но не безупречный. Даже уборщица, если внимательна, сможет сообразить: мыши не при чём, имитация. И придумал: да обычная бумажная труха, немного, много и не надо, главное — растолковать, расписать Вольфи, с его неуёмным воображением, что к чему, а это я сумею. Вполне себе идея.

И незаметно обронив на пол щепоть припасённой в кармане бумажной трухи, я сказал с лёгким удивлением:

— Мыши балуются, маэстро?

— Где? — Резко, скрипуче отодвинувшись вместе с креслом и блуждая по полу напуганным взглядом, Моцарт задрал ноги. — Травили ж!

— А вон следы, привет от них, совсем свежие, — небрежно показал я на рассыпанную бумажную крошку. — Хитрые твари: как глотнут отравы, сразу бумагу грызут и выплёвывают, так и выживают, — соврал я,

не моргнув глазом, хотя и понятия не имел, как там у грызунов на самом деле. — Похоже, яда и не хватило...

— Они скорее меня отравят, чем их, — не сразу опустив ноги и пряча, запихивая их под кресло, подавленно произнёс Моцарт.

— У вас есть враги, маэстро?

— А то вы не знаете? — недоверчиво шурясь, с язвительной усмешкой посмотрел он на меня. — Одни враги и есть, всегда, с детства, с первых же гастролей ... Думаете, зря отец позволял мне есть только в нашей комнате, и лишь после его пробы? Предвидел их подлые штучки...

— Но, маэстро, вас же все любили, восхищались, с детства, — возразил я. — Так везде пишут.

— Понапишут... К счастью, отец оберегал от их любви. Хотя однажды и его провели, сумели...

Моцарт осёкся, глядя на меня исподлобья и, наверно, раздумывая, не стоит ли прервать случайный, не особо приятный разговор. На пьянках Вольфи мог всюду дурачиться с актрисами и певицами, мог, зная, что ему всё простится, позволить себе откровенное непотребство, — но только не откровенность. До серьёзных откровений ни с кем в театре он не снисходил, а ведь, наверно, хоть иногда, хоть изредка хочется поделиться наболевшим, выговориться. Отца Моцарта уже не было в живых — и с кем тогда? Знающий своё место музыкант, умеющий держать язык за зубами, — разве не подойдёт? И Вольфи произнёс:

— Тоже на гастролях произошло... Собирались уже спать, а отец совсем ненадолго вышел, что-то уточнить насчёт нашего выступления. Моей сестры, Наннерли, — так шутливо звал её отец, — с нами в поездке не было, и я остался в комнате один, совершенно один... Вдруг дверь медленно-медленно отворилась, — и в комнату ворвался страшный горбун, ужасный, в накидке, в перчатках, в маске сатира, смеющейся...

Болезненная судорога пробежала по ещё недавно беспечному, веселому лицу Моцарта, ершистые брови, скорбно опав, застыли трагическим углом, и оставалось опять удивиться метаморфозам его настроения. Словно затравленный пятарь, Вольфганг упёрся в подлокотники, вдавился в спинку кресла и съёжился, замер настороженными, недвижными глазами:

—...Горбун вырос надо мной, вскинул пальцы крючьями, захохотал, зашипел в лицо, брызжа слюной: «Боишься меня, гадёныш? А выступать перед герцогом не боишься? Завтра за спиной у тебя встану, только заиграешь — придушу, запомни, бойся!» И, взмахнув руками так, что погасли почти все свечи, выскочил из спальни. Отец, вскоре вернувшись, ничего не мог понять, — меня трясло, бился, как в падучей, — а он, как понял, поспешил на поиски негодяя. Но нашёл только маску, валялась в коридоре. Спрашивал у всех, чья, — сказали, да чья угодно, таких полно. У них вечерами карнавалы проходили, с маскарадом, обычная маска, из папье-маше. А я, простите, обделался со страху, ещё ж совсем ребёнок был... Служанки набежали, с тазами, с водой, мыли меня, поливали, успокаивали, одежду всю ночь стирали-сушили... Но какой уж там концерт?

Отец мог отказаться от моего выступления, сказать герцогу, что случилось, однако придворные наверняка нашептали б иное: мол, капризный ребёнок, взбалмошный, не стоило его и приглашать. Все бы разошлись, и, думаю, конец бы нашим с отцом дальнейшим гастролям.

Только отец был умнее их всех. Взял ту маску, поднёс ко мне, сказал: «Плюнь!» — и я, хоть и боялся, плюнул. Он стал её ломать, сказал: «Помогай!» — и я ломал, рвал мерзкую харю на куски, с наслаждением, с восторгом, даже тесёмки отлетели, в клочья, вдрызг, и — как рукой сняло! Я вышел выступать. Музыканты двора все мило улыбались, когда я садился за клавесин — и все ненавидели, желали мне позорного фиаско. Боялись, их вытолкают взащей, вместе с их семьями, а при дворе оста-

вят одного меня, кто-то распустил такой слух. Говорят, я был бледен. Но играл, импровизировал — вот так! *Bravissimo!* грандиозно, как никогда! Музыка была для меня игрой, они этого не понимали, а разве отвадишь ребёнка от игры, даже страхом? Болваны тупорылые ... Но теперь только сознаю, как отец из всего меня вытаскивал, за шкуру... А я его не спас, наоборот...

Оттянув и подвигав сумбурным движением воротник кружевного жабо, Вольфганг продолжал неровным, падающим голосом:

— Когда отец всерьёз занемог, — он жил не с нами, но за ним ухаживали, и вроде пошло на поправку. И тогда случилось кое-что. Ночью, — мы с женой уже спали, — у нас в комнате, в углу, мышь завозилась, что-то грызла, — нашла, видно, хотя мы всё съестное плотно закрываем, всегда, а на крышки я ещё и камни кладу. Я вставал, топал, она затихала — и опять. Жена притащила нашего старого кота, мышь вроде затихла, и я уснул. И сон приснился: поздняя осень, может, даже начало зимы, туман, и в тумане проявилось дерево. Тёмное, корявое, на пригорке. И я пошёл к нему. На голых ветвях ещё оставались немногие листья, тоже тёмные, в инее, с таким ледяным, чуть блестящим налётом, казалось, вот-вот опадут. И мне почему-то захотелось потрясти это холодное дерево, не знаю, зачем, но очень захотел, и я встряхнул его, — как встряхнул бы яблоню, просто из любопытства, без всякой задней мысли, честное слово, никто ж меня не просил... А оказалось другое... оказалось, листья — совсем не листья, мыши, висели на хвостах. И они сразу встрепенулись, стали раскачиваться, побежали по ветвям, по моим рукам, в карманы ко мне, по ногам, — и я бегом прочь, скидывая их, — и проснулся, с криком, сердце ходуном, так и не смог больше уснуть... Вот что было... А через два дня отец умер. Не могу себе простить...

Моцарт потерянно замолчал, и мне пришлось напомнить о себе: «Простите, маэстро, репетиция ждёт. Так сказать насчёт мышьяка?» — на что он едва различимо ответил: «Как хотите...» Ему было всё равно.

Он опять что-то забормотал, разговаривая сам с собой или со мной, уходящим, обронив: «Зачем я тронул это дерево ...»

«Ба, какие ветра-то гуляют в голове у Вольфи, сколько всякого понапичкано, беда! — Подумал было я, задержавшись в коридоре. — Даже как-то жаль его...» А с чего бы ради — жаль? Да ещё мне? Его ужасы уже позади, а мои — только впереди, моё отчаяние ещё изгрызёт меня, благодаря ему же. Нет, Вольфи, кого, кого, а меня ты уже не разжалобишь.

Репетицию без меня задержали.

— Чего так долго-то? — ворчали коллеги по ансамблю. — Думали, Моцарт тебя съел. Истерит, не в духе?

— Говорит, ему нужен мышьяк.

— Мышьяк? Хм... А ещё чего?

— Ещё говорит, у него одни враги. Шутит, наверно.

— Понятно, не в духе... А шутит не шутит, с его закидонами всего ждать можно, — сказал один музыкант и меланхолично дёрнул струну скрипки. — Так что, господа, на пьянке глядим за Вольфи, чтоб не начудил. Тоже шучу...

Всё для меня прошло чисто, без сучка и задоринки. Фокусник с ярмарки сказал бы: следите за рукой! — а я скажу: следите за моей логикой и попробуйте найти подмену, брешь. Моцарту нужен был яд, мышьяк? Да, он же согласился. Моцарт говорил, что у него одни враги? Говорил. И эти его слова я и передал остальным, разве не так? Единственное, я не сказал, по какому поводу был разговор, — считайте, забыл, ну с кем не бывает? Да, я умело выгудил из Вольфи слова, которые были мне нужны, но дальше — разве я сам, при всех, обвинил его хоть в чём-то? Ни в чём, и слова дурного не сказал, ни единого! Так разве я оклеветал бедного маэстро?

И вообще, что есть клевета? Ложь, наговор, хула... как там ещё... навет, поклёп, напраслина? Возможно, — если она топорна. А если клевета талантлива? Разве тогда она не сродни высокому искусству? Как предание, сказание? А не допускаете, что это — просто невинное предположение? Или, как говаривают учёные мужи, гипотеза? Можете верить, можете нет, но выбор-то за вами, и, почти ручаясь, предпочтение будет худшему. Одним же миром мазаны.

Сообщите, что некий джентльмен от избытка чувств, из сострадания отдал бродяжке-попрошайке свою наличность — мы не поверим, это в укор нам, мы б ведь так не поступили. А вот скажи, что джентльмен, приличный господин, наоборот, оглядевшись, втихаря отнял у бродяжки собранную ею мелочь, — помотаем возмущённо головой и охотно поверим в подобную низость! Разве не так? Нам хочется думать, что другие хуже нас. Или выкрикните при всех вслед порядочной девушке: «Да она ж продажная девка!» — и тут же спрячьтесь за спины других, и кто-то из приличных дам обязательно подхватит: «А я ведь давно подозревала!»

Так уж мы устроены. Сразу, может, и не поверят, но ведь произнесено, а значит и услышано, а значит и осело уже в памяти слово изреченное. Шутка шуткой, а если вдруг за столом кто-то скрючится, хватаясь рукой за горло или живот, — да, может, просто костью подавился! — на кого первого оглянутся? Правильно, на Вольфи Моцарта! Первый мой шажок-стежок удался на славу, и это было только начало.

Но как подступиться к неуязвимо вежливому Сальери, я пока не представлял, и бессильные, беззубые мысли о нём только портили настроение. Ближе к ночи вдруг, безо всякого плана, охватило желание сочинить музыку, о чём уже забыл после прилюдного унижения, неодолимое, не терпящее отлагательств, — благо, целый пучок заточенных гусиных перьев был давно наготове. В первый раз передо мной не маячило никаких идеалов и образцов, никакой эстетики, плевать уже. А чему удивляться, господин всевидящий, всезнающий капельмейстер? Я ж всего лишь мастер по нотам, считайте, тупой заводной механус с ярмарки, а механус испортился, что с меня взять, кроме заурядных нот? ...Внятной мелодии не было, только хаос и только упрямая, распалённая вином ненасытная злость, которую я мог обрушить на бумагу, но я писал стремительно, неудержимо, едва успевая макать перья в чернильницу, писал в исступлении, сминая и отбрасывая чуть затёртое перо и хватаясь за новое, роняя кляксы, словно огненные капли kloкочущей магмы, зачеркивая ошибочное, но не останавливаясь и не сомневаясь: поток моей музыки, ревущий, словно ветер из летящих камней, из острых, ранящих обломков, пробьёт невозмутимо любезную, приторную маску Сальери. В конце, дописывая, наклонил догоравшую свечу ближе к нотам, горячий воск капал мне на руку, но было не до боли, само перо, казалось, горело в руке, не помню, когда ещё испытывал такую ярость.

Сыграть свою музыку для себя я не решился, боясь, что скрипичные струны полопаются, как пузыри на лужах под дождём, а я слишком жалел мою верную, мою многострадальную скрипку, но предложить сочиненное господину Сальери, пусть в последний раз, — о, это было искушение! Ничего не приобретая, я ничего уже и не терял: господу гении вычеркнули меня из списка творцов, пусть подавятся, но музыкантом, скрипачом я всё равно останусь и на кусок хлеба заработаю. Так хоть увижу, как треснет, как расколется, наконец, от негодования, от бешенства притворная улыбочка господина капельмейстера, пусть моя последняя музыка прозвучит для Сальери как брошенное в лицо оскорбление.

Не стал ни переписывать измаранные ноты, ни даже пытаться стереть или забелить помарки с кляксами, — и в таком виде на следующий день предоставил сочинение господину капельмейстеру, попросив посмотреть.

— Да, вот ещё, — небрежным тоном добавил я, — маэстро Моцарт говорит, ему нужен мышьяк.

— Мышьяк? — отстранённо переспросил Сальери, уткнувшись в предложенные ноты. — Вроде ж везде травил... Но это к администратору...

Короткие карандаши в правой руке капельмейстера замерли, он ничего не правил в моём сочинении, очевидно, считая невозможным, оскорбительным для себя править столь издевательски небрежный и неряшливый труд, даже рассматривать его, и я, внутренне замирая, подумал со странным, отчаянно дерзким, почти счастливым, радостным ощущением неизбежной развязки: вот сейчас, сейчас Сальери, наконец, взорвётся, отыграется хоть на мне за все годы терпеливой любезности со всеми, заорёт: «Вон отсюда, убирайтесь с вашей пачкотнёй!», и после скандала вынужденная администрация, от некуда деться, без лишнего шума переведёт меня в другой театр, пусть на окраине Вены, пусть во второразрядный и с меньшим жалованьем, да хоть к чёрту на рога, только б не видеть больше всех этих амадеусов моцартов и антониусов сальериев... не дышать одним с ними воздухом, не соприкасаться никак.

Однако слова господина капельмейстера прозвучали негромко и совершенно спокойно: «Не смогу поставить ваше сочинение в ближайшую концертную программу, здесь маловато. Но, по-моему, интересно. По крайней мере, впервые написано страстью.» Сальери посмотрел на меня с внимательным, любопытным сочувствием, с каким, наверно, умудрённый, всеведающий эскулап смотрит в больные глаза пациента:

— Что-то серьёзное?

— Ненависть! — надо, должно было честно выкрикнуть ему в лицо, но, обескураженный, изумлённый никак не ожидаемой похвалой от мэтра, я стушевался, замаялся, отделался общими словами, а дома, едва ли не потирая ладони, взялся писать продолжение успешной музыки. Однако ярость, обмякнув, обессилев, уже не двигала моё погасшее перо, не смог написать и нескольких осмысленных музыкальных фраз, — удача быстро, сразу же изменила мне, стоило о ней только вспомнить, только опять возжелать её...

Как-то на затянувшейся поздней пирушке Моцарт явно перебрал и спотыкался о всё подряд. В компании был его ученик, на десять лет его моложе, — назовём сего господина для краткости Зюйс, — впрочем, за глаза его так частенько и звали, — весьма смазливый и самоуверенный фронт. Одни говорили, что в нём больше гонора, спеси, чем подлинного таланта, другие — наоборот, уверяли, что Зюйс молод и в силу этого склонен к подражанию, но пройдёт время и он превзойдёт и самого Моцарта, вы ещё увидите, и может, совсем скоро! Такие велись разговоры, правда, случалось, Вольфганг, сорвавшись, ругал его сочинения, не выбирая выражений, но тем не менее частенько представлял ученику постой, угол в собственном жилище и тот по-прежнему был вхож в дом к Моцартам.

Зюйс взялся довести Вольфи до дома, а у меня появился повод заглянуть в семейное гнездо записного вундеркинда и я вызвался помочь. Зюйсу пришлось согласиться на мою помощь, тем более, что на улице Моцарта совсем развезло. Вольфи полез было рукой к кюлотам, к коротким своим штанам, но Зюйс, подскочив, напомнил: «Маэстро, вы ж недавно ходили!» Моцарт кивнул и, мотаясь, просто цепко ухватился обеими руками за чугунный фонарный столб; подъехавшему извозчику везти пьяного вдрызг пассажира не хотелось ни в какую, и мне пришлось заранее и серьёзно переплатить.

— Только просьба, чтоб ваш приятель, — возница кивнул на пьяного Вольфи, — не того. Если что, там под сиденьем ведро и тряпка, вы уж сами, господа, ради бога, а то жена разорётся, она у меня прибирается...» Но Моцарт был уже никакой; едва мы загрузили его, он впал в спячку, мотая бесчувственной головой, и ничего в дилижансе не натворил, од-

нако тащить его в дом, было трудно, даже вдвоём. Зюйс продолжитель-но позвонил в дверь, но как-то слишком затейливо, неравномерно, а через паузу — опять, и с тем же ритмическим рисунком, я запомнил, я же музыкант. Возможно, это был условный сигнал супруге Моцарта, что мужёнок мертвецки пьян.

Дверь открыла улыбочиво, томно зевающая, разомлевшая перед сном женщина с распущенными волосами, в лёгком пушистом пеньюаре, съехавшим с её плеч. Увидев меня, хозяйка сразу тесно и зябко запахла-лась. Уже интересно, да? Значит, к господину Зюйсу в таком фриволь-ном виде она выходить вполне привыкла? Или воспринимала его как старшая сестра своего братика, братика по искусству, — платонически, разумеется?

Потащили Моцарта в его комнату, уложили на постель, жена сняла с него обувь, нарядный парик, и теперь Вольфганг лежал, как молодой старичок, с детски пухлыми, безвольными губами, но с лысым, сырым от испарины темечком в обрамлении влажных и спутанных, как рваные струны, заметно седых волос...

В двух шагах, на столике — стакан с водой, полно склянок с лекар-ствами, маленькие кулёчки и свёртки с порошками, под ними — запи-сочки с развесовкой, с указанием долей, ещё стопка нарезанной бума-ги — наверно, для рецептов, при визите доктора. Сколько ж у нашего славного Вольфи болячек, подумалось мне, весь стол сплошная аптека.

Жена Моцарта мельком поглядывала на Зюйса, что-то, видно, очень хотела сказать или сделать ему знак, но не при постороннем. И я стал больше наблюдать не за пьяным Вольфгангом, который ворочался на постели и нёс бессвязную чушь, а за этой парочкой. Повернувшись к столу со склянками и загородившись от меня спиной, женщина, похоже, что-то написала. Мы извинились, что наследили, стали уходить.

Тут уж я смотрел в оба, и не зря: прощаясь и желая всех благ се-мье, господин Зюйс душевно сжимал руку дамы обеими руками, и вдруг на пол неловко упала маленькая, свернутая несколько раз бумажка, но Зюйс тут же отшвырнул её ногой, и она теперь высовывалась краешком из-под тумбочки. Я и виду не подал, что заметил, однако на улице, где нас дожидался обратно экипаж, Зюйс вдруг спохватился: ах, заморо-чился совсем, он же оставил перчатки, он мигом, одну минутку, и через минуту вернулся довольный, похлопывая о ладонь тонкими щёгольски-ми перчатками. Bravo, я явно недооценивал красавчика Зюйса, ловко вывернулся, бестия, просто блеск!

Итак. Если между ним и супругой его учителя связь, то, как задавал свой любимый настойчивый вопрос мой дорогой отец, — «Почему?» Что уже давно зрелая, замужняя дама, мать, упала в объятия соблазнитель-ного красавца много моложе её, это низко, дурно, но банально и объ-яснимо. А вот Зюйс... Его осаждают поклонницы, и юные и зрелые, он во всю этим пользуется, — и вдруг жена любимого наставника, вовсе не первой свежести, не красotka, так себе, это ж опасно для обоих? И остаётся один ответ: мсть, тайная, неутолимая, ненасытная, — и сла-достная. Она мстила мужу, тому, кто подавал с детства восхитительные надежды и обязан был давно осыпать её всеми благами, звёздами, бри-льянтами, а не осыпал, а он мстил Моцарту, потому что только в этом и мог почувствовать своё превосходство над ним, язвительным и бли-стательным, одарённым сверх всякой меры учителем. Пошло, как мир и, как говорится, каждому своё, однако ведь эти двое, пусть и на при-митивном, плотском уровне, уже совершали то, что намеревался осуще-ствить и я, но на моём, на более возвышенном уровне, с высоты моего безвестного гения.

Но не ошибся ли я в своём толковании случайно замеченного?

В дилижансе Зюйс сидел, по-хозяйски широко расставив ноги, слов-но напрочь забыв, что я сижу рядом, и мне пришлось задвинуться в

угол. Мои нейтральные слова о погоде остались без ответа, и вообще моё присутствие совершенно не заботило Зюйса, даже не занимало внимание. А кто я ему? Не начальник, не наставник, а уже, как и Моцарт, почти старик в его понимании, только без славы и влияния, — так что ему жаться? Мне бы не составило труда пересесть на переднее сиденье, я, конечно, мог. Но, во-первых, не люблю ехать спиной вперед, а во-вторых — а зачем, с чего ради я обязан уступать молодому наглецу? Закинув нога за ногу, Зюйс резными, рельефными своими губами взялся от нечего делать слегка выдувать, насвистывать нечто бравурное, но зацепив носком модной туфли помятое ведро под сиденьем напротив, опять расселся широко и отвернулся к окну.

А у меня в голове всё вертелась та оброненная на пол записка. Конечно, в ней могло быть и не то, что я заподозрил сразу, могла быть, например, просьба финансового характера, или напомнить Моцарту принять вовремя лекарство или в чём-то другом позаботиться о Вольфи, разное могло быть, бытовое, и совершенно будничное, безобидное. Но зачем же было так стараться скрыть записку? И мне, втиснутому в угол сиденья, захотелось испортить беспечное настроение молодого невежи, или по крайней мере попытаться. Нередко же блеф в карточной игре приводил меня к успеху, и я решил не тянуть, пошёл ва-банк, хотя и рисковал нарваться на грубую отповедь. Чуть наклонясь, сказал Зюйсу почти отеческим тоном, как старший по возрасту: «Мне не хотелось бы этого говорить, но, честное слово, вы мне симпатичны, и всё-таки скажу, — только это между нами, иначе я сильно пожалею о своей откровенности...»

— И что ж такое вы можете сказать, — небрежно полуобернувшись, лениво спросил Зюйс, запоздало прикрывая ладонью долгий зевок.

— Будьте осторожны, господин Моцарт подозревает вас и свою жену, ну вы сами понимаете, в чём... Увы, в прелюбодеянии...

Охохо, вы бы видели реакцию Зюйса!

— Это невозможно... но как он... как? — даже в свете тусклых ночных фонарей через пудру и румяна краска залила его холёное лицо. А мне было любопытно, что же невозможно: что он наставил рога доверчивому и радушному хозяину или что тот сумел догадаться? Экипаж на ухабах качало, коленка Зюйса касалась моей коленки, и я почувствовал, как затряслась, задрожала его нога.

— Он же меня сожрёт, — зашептал, причитая, заелозил Зюйс, почти хныча, — теперь хоть вообще беги из оперы... Так вяпался, так вяпался!

Заскулил Зюйс, и правильно заскулил: случись скандал, из театра вылетит не прославленный Моцарт, дающий сборы, а он, Зюйс, всего лишь подающий надежды, и потом такого музыканта, кусающего хозяйскую руку, даже в домашние репетиторы вряд ли возьмут, кто пустит козла в огород?

А? Оцените! Вот в чём сила простого, но выверенного слова. Я всего лишь почти наугад ткнул этим словом, как иголкой, — и попал, попал! Прямо меж створок, прямо между жабер этого надутого сазана, неотраженного господина Зюйса, и как он теперь замер, скукожился своим самодовольным личиком. Вот теперь он повернулся ко мне, снизошёл, удостоил, ища подсказки, успокоения в моём взгляде; но теперь уже я был небрежен, я только безразлично пожал плечами.

Для меня его причитанья звучали как музыка. Поймал себя на мысли, что за довольно короткий отрезок времени научился тоньше слышать интонации и оттенки человеческого голоса, я стал проникательнее. Но что ж дальше? И как бы должен был поступить, случайно узнав о подозрениях Моцарта, господин Зюйс, будь он, Зюйс, непорочный ангел? А очень просто: пришёл бы к любимому учителю и заверил, что, вопреки всем мерзейшим слухам, безгрешен и перед ним, и перед его уважаемой супругой, может поклясться и именем бога и своей жизнью, разве не так?

Оставалось подождать. Но прошло несколько дней, а красавчик Зюйс ни гугу, затаился, я угадал это по нервному напряжению, спазму его лица при наших встречах в театре, точно рыльце в пушку, шашни у него с жёнушкой наставника, к гадалке не ходи, — и значит, великого нашего Моцарта на его же великое самолюбие я поддену, как на дыбу, покорчится у меня.

Несколько раз проходил я мимо кабинета Моцарта, надеясь как бы случайно столкнуться, полюбопытствовать о здоровье и ненароком намекнуть насчёт любовных игрниц в его доме. А на ловца и зверь бежит: задумчивый Вольфганг, сосредоточенно грызя лакированные ногти, шёл мне навстречу. В таком состоянии, — все знали, — его не стоило отвлекать, поздоровайся тихонько и проскользни мимо, не нарвись, мало ль в каких эмпиреях витают гении, и наорать может, за Моцартом не заржавеет, — однако, заметив меня, Вольфганг заулыбался: «О дружище, зайдите ко мне!»

— Письмо вон пишу, сестре, — сказал он бодро, на ломберном столике поверх нотного сборника лежало под пенсне начатое письмо, — послания, увы, моя слабость. И в поездках пишу, и отцу писал, царствие ему небесное, постоянно. Бывает, и не по делу вовсе, без веской причины, а всё равно письмо пишу, — из театра даже и на собственный адрес, а вечером сам же и привожу к себе домой, вместо почты. И это никакая не глупость: годы пройдут, всё забудется, а строчки помнят! И вам советую, к тому ж успокаивает. Но вы всё-таки попробуйте моего имбирного пунша, составьте компанию. — Моцарт налил мне и себе винного напитка и я, похвалил, хотя винцо было так себе, да и приторное. — А знаете, как я с женой знакомился? Тоже письма пригодились: письмецо напишу, а сам прежде письма к ним приезжаю. Потом вместе читали, а сидим-то уже рядышком, тет-а-тет. Так женитьба-то и ускорила!

За возбуждённой словоохотливостью Моцарта явно скрывалась неловкость, вероятно, за недавнее пьяные его выкрутасы в моём присутствии, человека всё-таки постороннего, и он, взяв меня за локоть, наконец, повернул разговор в нужное мне русло:

— Дружище, я вот о чём... Тогда, ну недавно, я нахрюнился, как свин, совершенно не помню, ни бельмеса. Но и жена, и мой ученик в один голос говорят: вы были выше всех похвал, и проводили, и дорогу оплатили, и дома у нас... так что я перед вами в неоплатном долгу, но всё-таки прозаическую его часть позвольте вам компенсировать. — Он торопливо достал из конторки кошель, однако я категорическим жестом отверг деньги и стоял будто бы в нерешительности, опустив глаза. Яснее ясного, почему Зюйс и жена маэстро так хотели меня отблагодарить, а вернее, откупиться, — чтоб не сболтнул об их шашнях.

— Что-то ещё? — неуверенно, опасливо спросил Вольфганг.

— Не знаю, маэстро, как и сказать, и сказать ли... Это ваша личная жизнь и ничья больше, а я абсолютно вас уважаю ...

— Да говорите ж, не тяните за хвост, мой ученик и... ну что там? и жена?

Совладать с лицом Моцарту не удалось. Скривив, будто от зубной боли, плохо выбритый подбородок, он с растерянно-плаксивым выражением уточнил вопрос: «Вам что-то показалось?»

— Больше, чем показалось, маэстро...Посторонний взгляд в таких вещах не ошибается. Простите, я сожалею, что сказал...

— Да при чём тут вы, вы честный человек... Неужели и правда, «Все женщины поступают так»? — удручённо процитировал Вольфганг название своей же комической оперы, где основой сюжета стала легкомысленная женская переменчивость. Он медленно, очень медленно провел пальцем по спинке конторки, будто проверяя пыль, посмотрел на палец, неторопливо вытер его о платок, сказал: «На закладке моей партитуры кто-то накарябал: «Рогоносцы любят нотоносцы», и мои инициалы. С рожками...»

Вольфи ещё сопротивлялся, ещё не хотел, не мог поверить, допустить, но импульсивная, чрезмерная мнительность уже корёжила, уже брала его в оборот. Сев в кресло и чуть покачиваясь, маэстро уныло задышал, приоткрывая и закрывая рот, словно аквариумная рыба, собираясь и не решаясь сказать, однако пальцы музыканта часто выразительнее слов, и пальцы Моцарта терзали теперь и без того ветхую, выцветшую и довольно засаленную обшивку подлокотников, из-под ткани клочьями выбивалась вата.

— Когда я сочинял дома, — наконец всё-таки сказал он, собравшись с духом, — они с женой музицировали в соседней комнате, рядом. У жены приличный голос, надо распеваться, и она не обязана из-за меня скучать... Но теперь вспоминаю, бывало такое: мой подопечный аккомпанировал едва-едва, как-то странно, будто одной рукой, и неровно, а её голоса я вообще не слышал, он даже не звучал, и подолгу.

Извилистая жилка на лбу Вольфи и его отёчные мешки под глазами, его грузные веки ещё явственнее набухли, словно к ним мгновенно прилила вся кровь; лицо маэстро пошло пятнами, и вроде бы он смотрел на меня, но видел явно не меня, другое:

— Вот что они могли тогда делать, за стеной, в моём доме, при мне? Страшно представить... И... как теперь?

Не воздушный гений с картинок, не бесподобный, божественный Вольфганг Амадей Моцарт, а жалкий, раздавленный пошлой прозой жизни Вольфи подавал сейчас слабый, почти переходящий в фальцет, бессильный голос из кабинетного кресла, — редкое зрелище, оттого и бесценное, а для меня так и вовсе упоительное: мои выверенные намёки угодили в цель, — хоть ненадолго, но мы поменялись местами, теперь не он мне, а я причинял ему нестерпимую боль, — как аукнется, маэстро, как аукнется... И как же это так: моей музыкой и мной как творцом пренебрёг без сомнений, даже с весёлой издёвкой, а тут вдруг униженно ждёт — и всё от меня же! — спасительной соломинки, совета насчёт его заплутавшей жизни? Где логика?

Мысленно я торжествовал, видя душевные корчи Вольфганга, моя месь начинала сбываться, однако из моей кукольной пьесы по-прежнему выскальзывал другой главный персонаж, маэстро Сальери, и я с видом озабоченного тайного советника рассудительно произнёс:

— Возможно, маэстро, ваш неблагодарный ученик — всего лишь послушное оружие в чужих, более умных руках. Но если вы знаете, кто эти ваши враги, вы можете предупредить их козни.

— Да их пруд пруди, — с досадой отмахнулся Моцарт, и я надеялся, что он назовёт хотя бы нескольких своих недругов, а в их числе и капельмейстера Антонио Сальери, и тогда бы я сказал: «А разве, маэстро, ваши братья по ложе не заступятся за вас, не накажут, не устранят врагов? У них много способов, и они ж вам братья, друзья, наконец? Но если защитить некому, а вас травят, защищайтесь сами.. Как? Да запросто! Ну, скажем...когда травят грызунов, то яд, мучные комочки с мышьяком, посыпает и на пол тоже, вдоль плинтусов. И представьте, если вы нечаянно — повторяю, маэстро, нечаянно, — уроните сладкую сдобу или печенье на этот пол, и подняв, вернёте на тарелочку? А сладкоежка из ваших врагов позарится и отведаёт эту сладость? Вашей вины не будет ни капли, никто вообще ничего не докажет, случайность, всего один разок, зато вашим врагам, маэстро, будет преподан достойный урок: никто не смеет пакостить гению, вы Моцарт, а не мальчик для битья! Я ведь прав, маэстро, вы согласны?»

Это собирался я ему сказать, со всей убедительной страстью. Мне даже показалось, прямо сейчас, чуть поднажав, я совсем сломаю волю разбитого, доверчивого от беспомощной слабости Вольфганга и он послушается моих доводов, как слушается ребёнок взрослого, я смогу перебирать, дергать его страхи, его сомнения, словно покорные струны, — и эта мысль уже возбуждающе пьянила меня.

Но Вольфи вдруг устало промолвил: «Только Магдалина и принимает меня...»

«Какая ещё Магдалина? — ничего не понял я. — Может, у них, у масонов, есть некий ритуал с «Принятием Магдалины?»» Правда, вслух этот вопрос я не задал, а обессиленному Моцарту было уже не до разговоров, маэстро замкнулся и отчуждённо замолчал.

Ну да ничего, я терпеливый, дурашка Вольфи всё равно у меня на крючке. Моцарт мог небрежно проигнорировать других в театре, однако со мной, на зависть и к удивлению остальных, он теперь здоровался или, если был совсем не в духе, по крайней мере сдержанно кивал мне: отныне нас связывала тайна. Его тайна. Его постыдная, его непереносимая, невыносимая семейная тайна.

А меня устроил бы любой вариант, честно: и если б Моцарт, гремя рогами, учинил бы скандал и трёпку своему верному ученику и другу семьи, красавцу Зюйсу, вывалил бы перед всеми грязное домашнее бельё, ох бы я тогда молча повеселился, — и если б Вольфи, желая сохранить лицо, семью и не выносить сор из избы, как бы поверил клятвенным заверениям супруги, помалкивал бы, снедаемый подозрениями и мнительностью, — я бы всё равно мог при желании чиркнуть огнём и распалить его ревность, его уязвлённое самолюбие до адской жаровни.

Но неплохо было б нанести Моцарту ещё одну рану, чтобы он упал, наконец, предо мной на колени, словно обескровленный жалащими укулами и оцепевший от боли бык перед внимательным, расчётливым тореро, — и я искал эту возможность, следя за Моцартом после службы и, похвалюсь, преуспел в искусстве слежки не хуже филёра из тайного сыска. Однако оказалось, не я один сижу на хвосте у славного маэстро, но и ещё двое господ, одетых, как в похоронной процессии, во всё чёрное.

Один, постарше, показал рукой на спину Моцарта: «Смотри, чтоб опять не улизнул!», и тот, что моложе, преградил Моцарту путь:

— Здравствуйте, брат!

— Здравсьте, здравсьте, — отвечал Вольфи, проворно поворачивая в сторону, — но мне, некогда, господа, честное слово, опаздываю, ни минуты!

Вплотную следуя за ними в толпе, я весь обратился в слух и вполне различал их слова:

— Господин Моцарт, брат Амадеус, позвольте напомнить, забавы закончились, началось дело! Братьям, там, — понизив голос, но с нажимом, многозначительно намекнул старший господин в чёрном, — нужно подлинное содействие, и вы, наш брат, должны уже, наконец...

— Господа, ну я ж уже объяснял! — с мольбой в голосе прервал Моцарт говорящего. — Нет у меня никаких братьев, нету, сестра есть и этого достаточно, а братьев, уж простите, Господь не дал.

— Но ложа...

— Я сам могу создать какую угодно ложу, сам! В опере их вообще не одна, там кругом одни ложи, зайдите, посмотрите! Ну господа, ну отстаньте вы уже, сколько я для вас уже сделал!

Моцарт, развернувшись, запрыгнул в пролётку, оставив назойливых «братьев» с носом, и я удивился его внезапной прыти. Однако, похоже, проблемы у маэстро, и серьёзные, были не только дома, не только в семье.

В другой раз я проследил, как после театра Вольфганг добрался пешком до ограждённого, с затейливыми лепными символами на фасаде, двухэтажного особняка, все окна которого были плотно зашторены. Невесть сколько времени дожидаться Моцарта обратно не имело смысла, и я, погуляв по улице через дорогу, собрался было отчалить, как вдруг Моцарт торопливо покинул здание через боковую дверь, поправил на плечах синюю накидку и, не обращая внимания на проезжавшего извозчика, опять пошёл пешком. Спустя несколько мгновений из той же двери вы-

сунулся хмурый господин с чёрной бородкой клинышком, поджарый, с тростью в руке, и отправился за маэстро. Любопытно, что за дела, я пропустил за ними. Покружив по улочкам, Моцарт свернул за угол старого дома, но вот господин с тростью повёл себя несколько странно: оглядевшись, он постоял на месте, словно нарочно выдерживая паузу, наконец, скрылся за углом, я опять следом — и сильный толчок рукой в грудь едва не сбил меня с ног, однако та же рука схватила меня за ворот; въедливые, на выкате, черные глаза господина, оказались так близко от меня, что я видел красные, кровяные трещинки на их желтоватых белках.

— Шпик, филёр, за мной следишь, — зарычал он на меня, — или дружку пособляешь, негодяю этому, Моцарту?

Меня почти восхитила старческая экспрессия господина, а то что он действительно стар, не могли скрыть ни обильная шпатлёвка с пудрой на множестве морщин, ни густая чёрная окраска его бровей и бородки-эспаньолки.

— И в чём же я ему помогаю? — Попытался я осторожно освободиться от хватки господина, но тщетно.

— Не придуривай, — грозно замахнулся старик своей тростью с серебряной рукоятью в виде горгульи, готовый обрушить её на мою голову, — сам знаешь, в шашнях с моей женой, с Магдаленой!

Ах, вот оно откуда, дошло до меня, вот кто эта загадочная Магдалина нашего маэстро! Чудесно. Открытие развеселило, и я мгновенно нашёлся, как ответить, пролепетав с грустной, смиренной улыбкой:

— Думал, Моцарт опять преследует мою юную племянницу, вот и следил. Простите, я ошибся...

— Значит, он всем пакостит... Ну подлец, таким не место на земле, убью!

Господин кинулся в дом, и я услышал через окно вначале разъярённый голос господина, а потом послушал, усмехаясь, преисполненную оскорблённого чувства женскую песнь:

— А я-то удивилась, что ты так рано сегодня, а ты опять со своей дурацкой ревностью! Ну ищи, ищи! Под столом поищи, в кастрюльках давай поищи, и на шкафу не забудь, заодно и пыль протрёшь...Боже, как я устала от всех твоих глупых, пустых подозрений, кто б только знал! И за что мне такое наказание!

Как вам сия импровизация? Разве не достойно высокой сцены и самых взыскательных аплодисментов? Вполне: бывает, талант прорезается и с испугу.

Однако даже одного внимательного взгляда на их окно было достаточно, чтобы всё понять. Небедный, бедный, старый рогоносец! Наверно, умён в своём деле, уважаем солидными и достойными господами, — а полный профан в делах адюльтера, в проказах на стороне, убогий дурачок, даже не догадывался, что может передать, сообщить любовнику находчивая пассия с помощью самого обыкновенного окна. Форточка, вон, закрыта, одна штора подвязана широкой шёлковой лентой, другая опущена, горшок с красной геранью повернут так, что с улицы отлично видна уродливая выбоина на ободке, а пышная белая герань отодвинута в другой край, где цветку совсем не место. Случайно? Нет! Быстрая декорация, постановка, заранее обговорённые, говорящие знаки, целая гамма. Наверно, жена ревнивого рогоносца заподозрила что-то в его поведении и решила не рисковать, перенести свидание с Вольфи. Моцарт мигом всё прочитал, среагировал, но вряд ли убежал далеко. Я перешёл на соседнюю улицу, — и точно, увидел спину в синей накидке и голубой бант в косичке парика, маэстро проворно улепётывал. Повезло шалунушке, везунчик. На этот раз повезло...

В моей руке оказались сильные карты против Моцарта. И испуганный господин Зюйс, наставивший рога учителю вместе с его жёнушкой, — а на домашнем столике у Вольфи, помнится, полно всяких лекарств. Но, как сказано в тёмной книге, иной яд в маленьких дозах — живительное

лекарство, а иное лекарство в чрезмерных дозах — смертельный яд, и ведь так легко по забывчивости ошибиться с дозой! Есть ещё разгневанные, мстительные братья масоны, а ещё бешеный, ревнивый роконосец, тоже, кстати, масон, готовый задутьши любовника жены собственными руками, — целое воинство наберётся! И что ни карта, то козырь, выбирай, каким сходить, любой — убойный для Вольфи. Моцарт был у меня в кулаке, разве только не жужжал...

Но по моей же задумке вначале предстояло столкнуть лбами у всех на глазах, стравить меж собой Моцарта и Сальери, и я решил дать передышку одному и взяться плотнее за другого, за господина капельмейстера, следил при любой возможности за Сальери. После театра он заходил в магазины, несколько раз заходил в гости к либреттисту театра, тоже итальянцу, однако вскоре уходил от него твёрдой, трезвой походкой, спешил привычно домой. Если Сальери и выпивал с приятелем, то слегка, символически. Часто маэстро заходил в ближайшую от театра неброскую церквушку, много молился: что-то явно угнетало его, и, действительно, в их доме не слышалось прежнего веселья, даже дети мало шумели. Один раз, в воскресенье, я наблюдал, как почти со всем семейством Сальери садился в открытый экипаж. Пришлось и мне потратить время и деньги, проехал на всякий случай следом, — оказалось, снова к храму, мне пришлось дожидаться окончания службы.

Выходя из храма впереди семьи и осторожно спускаясь по мраморным ступеням к экипажу, низкорослый Сальери, напрягаясь всем телом и заметно отклоняясь спиной назад, заботливо нёс на руках, прижимая к себе, тихо уснувшую девочку, уже довольно взрослую, крупную. Вся семья не проронила ни слова. Вот и всё, что мне удалось ещё узнать о Сальери. Признаю, негусто, зацепить его было нечем.

Моцарт тогда выпал из моего поля зрения, он то выезжал на гастроли, то куролесил, то подолгу болел, и вдруг — обухом по голове, известие: Вольфганг Амадей Моцарта не стало.

Ну, ну, любезный, не надо закрываться одеяльцем, здесь не холодно, не надо. Я должен видеть ваше лицо, а вы должны слышать, пусть и с закрытыми глазами. Думаете, это я Моцарта? Чушь! И точно не Сальери, а вот другие охотники отправить Моцарта к праотцам, уже сказано, были, хоть и таились, и, может, единственный мой грех — что разные мои слова про него, сердитые, нестерпимые, опрометчивые, заставили их подсуетиться, заспешить.

Да и зачем бы мне это сейчас, — в смысле, тогда, — сами посудите? Ну подливал я масла в огонь, да, хотел, чтоб Моцарт помучился не меньше моего, чтоб даже парализовало его пальцы, его ощущение звуков, музыкальный слух, пусть бы он ещё двинулся умом, лишь бы стал немощным как творец. И тогда, слыша жалкую, никчёмную и беспомощную его музыку, я сказал бы ему в лицо с насмешливым сочувствием, с весёлой издёвкой, как и он мне: «Нет, маэстро Моцарт, подарков вроде вашей музыки нам не надо, никому, избавь бог от вашей музыки!», — вот тогда б он всё понял, и это была б высшая нота моей мести. Но я не желал ему загнуться, зачем мне его всего лишь телесная гибель? В первую голову мне хотелось наказать Сальери, и как раз с помощью внушаемого, податливого и надломленного Моцарта, — а Вольфи взял и вон что... Не вовремя... Он подвёл меня! И как теперь достать, наказать господина капельмейстера, Сальери?

Ну а доктора сразу же поставили диагноз, объявили без сомнений причину смерти Моцарта — его давнишние, застарелые болезни, усугублённые нервным истощением.

В театре кончину Моцарта переваривали с трудом. Одни сокрушались, дескать, Вольфганг мог ещё создать нечто грандиозное, взял бы и выдал напоследок, а по мне... ну не знаю, я не верил. Всего-то двух месяцев не дожил маэстро Моцарт до своих тридцати шести лет, — весьма

приличный, скажу я вам, возраст для гения. Часто именно в этом возрасте они, наши чудные, наши бессмертные славные гении и завершаются, достигают вершины, чтоб покинуть земную юдоль. Или начинают катиться вниз, только пыль столбом. Не думаю, что маэстро ещё бы чем-то уж особенным удивил. Может, я это от раздражения говорю, а может, и нет. Объясню, почему. Для гениальной музыки Вольфгангу всегда была нужна впечатляющая, жестокая встряска — унижение, утрата или ужас, страх адовый. Впрочем, я это уже говорил, кажется... Получается, несчастье обостряет талант? А здоровышка-то негусто, вот силёнки и истощились, перегорел, иссяк...

Но с другой стороны, Вольфи расплачивался брэнной жизнью не за просто так, а за бессмертие, — вполне неплохой обмен, я б согласился, сто раз бы согласился, пусть хоть в то же бы время умер! Только мне такого шанса не досталось...

На похоронах Моцарта маэстро Сальери появился лишь при отпевании, пришёл неслышно, а потом так же незаметно и исчез. И в театре объявился только несколько дней спустя, но его проворные шаги не стремились привычно по коридорам, он не заглядывал в аудитории послушать репетиции, Антонио Сальери сидел у себя, а меж тем из-за его отсутствия многие репетиции полетели кувырком.

Возглавляемые администратором, мы постучались и вежливой гурьбой зашли к нему в кабинет, спросить насчёт расписаний. И сразу бросилось в глаза: на столике, под дипломами, между бронзовых и серебряных бюстов австрийских императоров, обязательных для важного кабинета, над их венценосными головами и парадными шлемами с высоким плюмажем возвышалась детская кукла: улыбчивая симпатичная мордашка, платьице в мелкую серую клетку, вишнёвая шапочка-беретка, белые носочки и кожаные туфельки-тапочки. Деревянное личико и деревянные ручки куклы были вырезаны и расписаны столь искусно, что она казалась живой. И всё же это было невысказанное кошунство. Если бы заглянул какой-нибудь проверяющий вельможный инспектор, высокая аристократическая особа, и увидел бы куклу над императорами — скандал случился бы неслыханный, такого не простили бы и королевскому капельмейстеру. Поэтому администратор, от греха подальше, убрал оттуда куклу, поглядывая, где б её лучше пристроить.

— Оставьте её, — вдруг довольно грубо, не похоже на себя, вскрикнул Сальери. Он встал, отобрал куклу и несколько раз бережно наклонил её, убаюкивая, кукла вроде даже мякнула. Хотя, возможно Сальери сам попытался изобразить голос младенца. Сев на место, Сальери посадил куклу на столе слева от себя, оперев на высокую стопку нот, оправил на ней платьице, беретку, подтянул белый чулочек на одной ножке, на другой, проговорил: «Это я виноват, только я...», медленно помотал головой — и уронил свою бессильную голову на стиснутые до белых костяшек кулаки, содрогаясь в рыданиях. Кукла тоже упала, боком, и касаясь маленькими пальчиками его волос, словно хотела погладить его в утешение. Сальери был невменяем.

Администратор велел всем выйти, а меня за локоть отвёл в тупик коридора, в полголоса рассказав о причине произошедшего с Сальери, и спросил у меня, не знаю ли, где помогут господину капельмейстеру быстро восстановиться, прийти в себя? Я предложил взять его к моему знакомому доктору. Пока ждали карету, народ волновался.

— Что там было? — спрашивали те, кто не заходил в кабинет.

— Антонио Сальери сказал, что это он во всем виноват, — сухо отвечал я, уже опробовав эффект недомолвок.

— В чем виноват? Это связано с Моцартом? — спросил кто-то, и все на него зашикали, обозвав придурком.

— Возможно, — будто бы рассеянно и как бы не вникнув в суть вопроса, занятый другими мыслями, отвечал я, — всё в жизни возможно.

Я сказал так, хотя со слов администратора уже точно узнал, с чем на самом деле были связаны отчаяние и горестные слова Сальери. Маэстро долго искал и в магазинчиках Вены, и в поездках за границу, и купил, наконец, желанную куклу для своей больной дочери, похожую на неё саму, держал куклу в коробке, в кабинете, хотел подарить на день ангела. Но дочь не дожидая до дня рождения, и Сальери винил себя, что не подарил куклу раньше, без повода, просто так, — может, подарок поддержал бы силы его дочурки. Вот почему убивался маэстро.

Однако тот чей-то глупый вопрос, насчёт связи с Моцартом, словно встряхнул меня, подтолкнул мою мысль. Я мечтал с помощью Моцарта отомстить Сальери, но Моцарт не помог мне? Да, не помог... Пока был жив... А теперь, покинув бранный мир? Я даже взволновался. Рано терять надежду, почивший Вольфи ещё пригодится и Сальери получит, схлопочет своё. Горе безутешного Сальери когда-нибудь пройдёт, а моя месть не должна пройти, пока не утолится. Продолжай при любой возможности язвить господина капельмейстера, — а там как дорожка выведет!

Теперь, по истечении многих лет, я нисколько не сомневаюсь: любую репутацию, даже если она безупречна и идеальна, можно обрушить, было б желание и время; хоть белоснежный мрамор, хоть человека можно так умело мазнуть — никогда не очистится, не отмоется. Но с какого края подобраться к незапятнанному имени Сальери? Тогда я не представлял. В клинике никого, кроме родных, к нему не допускали, по его же просьбе; излечился он быстро и вернулся к своей службе капельмейстера.

Но любые новые сведения о Сальери совсем бы мне помешали. Спустя несколько месяцев я отправился к доктору за новым набором мазей для отца, от болей в пояснице, и исподволь, между прочим, расспросил доктора про Сальери, как ему тут было, все же в опере переживали за него. И доктор отвечал, — но это между нами, — что Сальери твердил, как заведённый: ему нет прощения, он виноват в смерти дочери. Надо было не колесить по гастролям, а искать дочери лучших докторов. Но он, эгоист, думал только о своей музыке, о службе, а не родной девочке, которую любил и не спас. А ведь и эти слова маэстро, пересказанные доктором, не все, а только часть, подумалось мне, могут пригодиться. Если их правильно расставить. Итак, Сальери опять признался: он виноват в смерти и ему нет прощения. Неплохо. И тут меня не то чтоб осенило, а только нечто, пока смутное, промелькнуло в голове, я сказал доктору, что хочу рискнуть и сочинить оперу со своеобразным сюжетом: влюблённый юноша оказывается виновным в гибели возлюбленной и сходит с ума, последние его арии звучат в клинике для душевнобольных, — и как бы мне присмотреться к такому персонажу вживую, не поможет ли мне доктор? «Сюжет оригинальный, сам бы послушал, хоть и не особо люблю пение, — с усмешкой откликнулся доктор. — И вы знаете, мои больные могут многократно повторять одну и ту же фразу, а потом резко оборвать. Это ведь тоже интересно для оперы?» Я поблагодарил за отменный совет, сказав, что доктор и сам, наверно, мог бы стать интересным либреттистом, и он, явно польщённый, сказал философски: «А любовь и правда такая штука, всего ждать можно. Жаль только, чтоб из-за любви, у нас таких нету, — посетовал он, но тут же ткнул пальцем в воздух, — хотя погодите-ка... Есть один, правда, он не из-за девушки, у него мать погибла, а винит себя. Тихий молодой человек. Кстати тоже увлекался музыкой, даже иногда напевает.»

— А что напевает? — поинтересовался я на всякий случай.

— Арию Фигаро из Моцарта, и другое. Одно плохо: по болезни он никак не наедается сладкого, таскает в карманах остатки сладостей, и карманы липкие, прачкам лишняя забота.

В этой мутной водичке явно что-то наклёвывалось.

— Можно его увидеть? — спросил я.

— Да, можно. Уже потеплело и я позволяю тихим больным прогулки и свидания с родными в скверике отдыха. Обычно этот больной юноша ходит вдоль ограждения, смотрит, ждёт родных, но к нему редко приезжают, очень редко. Полный такой... Ну а прогулка состоится, — доктор посмотрел на часы, — через полчаса.

Вот не знаю, зачем мне это захотелось, просто даже не объясню. Я ведь уже видел на территории лечебницы, хоть и издалека, всех этих унылых страдальцев духа, этих горемык, больных не телом, а истомлённых собственной метущейся душой. И разглядеть кого-то из них поближе — вряд ли мне бы хотелось потратить драгоценное время на подобную забаву.

Но всё же в каком-то весёлом волнении я сходил в лавку и потратился, купил несколько песочных пирожных с клубничным кремом поверху. Значит, я всё-таки предполагал получить от моего действия нечто полезное? Но что? Однако, — возможно, и вы, любезный, оставаясь здесь подолгу один, предоставленный своей беспокойной памяти и мыслям, замечали подобное за собой, — совершенно странная штука наш ум, совершенно, сплошная загадка. Я ещё не знал, чего именно хочу, не знал, как поступаю, не смог бы выразить словами, даже не предполагал. Но, вероятно, в нашем уме действительно обитают, живут некие неутомимые и пронизательные бесплотные создания, или, как их называют алхимики, бестелесные сущности, — и вот они, даже когда ты и не собираешься ничего обдумывать или делать, или даже спишь в своё удовольствие, укрывшись уютным одеяльцем, они сами думают за тебя, думают тщательно, перебирая варианты, чтобы явить тебе то, что называют озарением.

Вернувшись с пирожными, я подошёл к скверу. «Моего» персонажа узнать оказалось проще простого: квёлый молодой человек, полный, рыхлый увалень, с бледным, бескровным лицом, сонно шёл вдоль ограды и меланхолично вёл обломком ветки по железным прутьям, как по однообразным струнам каменной арфы. Этот монотонный звук ему, похоже, нравился.

Насвистывая арию Фигаро, я достал из кулька одно пирожное, откусил с краешку.

Толстяк раздумчиво, настороженно приблизился, встал напротив. Его взгляд из глубины тёмных, как синяки, глазниц был пронзителен, но вряд ли от пытливого ума: вероятно, таким же пронзительным взглядом он смотрел бы и на лёгкие облачка в небе, и на суровых санитаров. Сейчас этот цепкий взгляд был сосредоточен исключительно на моём рассыпчатом пирожном, сладкие крошки которого я успевал подхватывать ладнюю и с демонстративным наслаждением отправляя себе в рот.

— Вкусно, у-у, слов нет, — сказал я, протягивая толстяку сквозь ограду одно пирожное, — попробуйте-ка.

Парень доверчиво взял пирожное, съел одним махом и, не вытерев розовый крем с губ, смотрел на меня.

— Вижу, понравилось, согласен, вкуснятина, — понимающе сказал я, и при виде это покорного, злосчастного юноши ко мне и снизошло озарение. — А теперь послушай внимательно. Я назову фразу, ты её запомнишь и как только повторишь, я дам тебе ещё пирожное. Идёт? (Он неуклюже закивал.) Итак, запомни: «Сальери любит сладкое, а Моцарт яд не любит». Повтори!

Как слетела с моего языка эта вроде бы глупая, несуразная фраза — пытайте, не знаю, не отвечу. Наверно, как раз постарались те самые, неутомимые сущности в моём нервном, растревоженном уме, вот и сказал.

А увалень за оградой даже взбодрился, подумав, что это детская считалочка, повторил её с удовольствием аж дважды и тут же получил новое пирожное, которое, запихивая кусками в рот, сразу съел. Сообразив, что от него требуется, он снова и снова произносил заданную фразу настойчивым монотонным голосом, пока мои пирожные не закончились.

«Не огорчайся, будет ещё тебе сладкое, — приободрил я его перед уходом. — Увидимся в следующий раз, — повтори те же слова, и опять получишь эти божественно вкусные пирожные. Согласен?»

Встретить снова доброго волшебника с кульком сладостей, — и он бы отказался? Конечно, согласился, закивал. Но надо ковать, пока горячо. В оркестре был молодой трубач (он ещё играл на валторне и тромбоне), у его дедушки болели суставы, и как ему помочь, музыкант не знал. Я и предложил: мой знакомый — уважаемый, многоопытный доктор, такие болезни как раз по его части, можно проконсультироваться. И на следующий день мы с музыкантом отправились в клинику. Разумеется, прикупив кулёк пирожных, самых, самых нарядных, для визита я выбрал время прогулки больных и задержался вместе с музыкантом возле сквера отдыха. Ария Фигаро, насвистанная как пароль, пирожное, которое я, будто бы проголодавшись, с нарочитым удовольствием съел, — и толстяк уже стоял за изгородью, глядел на меня и, ничего не перепутав, старательно произнёс: «Сальери любит сладкое, а Моцарт яд не любит.»

Попугай прокукарекал! Как по щелчку пальцев! У нас дома не было животных, женщины чихали от кошек, но из меня получился бы дрессировщик. Жаль, не смогу больше использовать этого послушного болванчика, но заданную роль он сыграл исправно, ничего не напутав. Я — из сострадания, конечно! — угостил больного юношу пирожным и сразу же увлёк моего ошеломлённого спутника прочь от сего скорбного места, нам же надо было к доктору.

Правда, прожорливый увалень не унимался и, вцепившись руками в ржавые прутья ограждения, настойчиво проговаривал нам вслед: «Сальери любит сладкое, а Моцарт яд не любит!» Но старался он уже зря: отдать бедолаге остальные сладости было бы рискованно, тогда мой спутник смог бы заподозрить инсценировку, — да и не обязан я откармливать пациентов больницы! Было ещё опасение, что доктор при моём спутнике спросит, удалась ли мне беседа с больным юношей, или что мой спутник вдруг начнёт расспрашивать доктора о Сальери и словах больного. Но, к счастью, доктор очень спешил по другим делам, вкратце расспросил моего спутника и назначил время приёма для его деда, и всё на этом.

— Вы хоть что-нибудь поняли, что сказал этот бедняга? — с тревогой спрашивал меня на обратном пути трубач. — Про Сальери, про Моцарта и про.. про..

— Ну договаривайте, договаривайте, — сказал я, — про яд, да?

— Да... Что он имел в виду?

— Я слышал ровно столько, сколько и вы, — холодно отвечал я. — Может, проболтались санитары, а больной подслушал.

— Но такое просто невозможно, ничего такого! — с жаром воскликнул музыкант.

— Что — невозможно? Капельмейстер Сальери лечился как раз в этой клинике и вовсе неспроста. До этого, в кабинете, он каялся в причинении смерти...

— Ерунда, вздор! Да, маэстро строг как музыкант, но человек абсолютно порядочный и добрейшей души, вы же сами знаете!

— Знал. Прежде. Но жизнь меняется, и люди тоже, соблазны нас меняют, — сокрушённо, будто б с глубоким сожалением говорил я. — Возможно, нет дыма без огня. Мне тоже не хотелось бы подумать ничего такого о капельмейстере Сальери, но, с другой стороны, всем же известно: Сальери вполне мог завидовать Моцарту, царствие небесное нашему Вольфи!

Конечно, когда я говорил «всем известно», я знал, что на самом деле всё совершенно не так. С ещё большим основанием я мог бы сказать: «Всем известно, как Моцарт завидовал Сальери», это было большей правдой. Но меня не интересовала правда, мною управляла месть. Я не сомневался: молодой впечатлительный музыкант расскажет и дома, и коллегам об услышанном, и кто-то обязательно усомнится в Сальери, дрогнет. Таковы уж мы, грешные. Кажется, у рыбаков это называется подкормка, и потом обязательно клюнет? Посмотрим, проверим, подумал я. Вроде бы так.

Соломку я постелил. Может, когда-нибудь её подожгу, со всех сторон.

Впрочем, и без моих стараний Сальери был плох. Теперь улыбка не задерживалась на лице господина капельмейстера, отклеивалась, и хоть иногда по старой привычке он пытался шутить, выходило бледно. Мне казалось, он сломлен окончательно, и судьба, словно став моей сообщницей, наказала его, как и Моцарта, за пренебрежение мною. Я достаточно повидал надломленных людей, и из театра, и прочих. Придя в себя после непоправимого удара, они тихо угасали или, спохватившись, что жизнь почти ушла, старались сорвать последние цветы жизни в бесшабашной компании собутыльников, доживая в двух попеременных состояниях: запой и похмелье.

И я бы хотел, чтобы Сальери утешился, поступил бы таким же образом, уткнулся бы в вино, в объятья любовниц, в простенькие радости, доступные всем подряд, но только б оставил, наконец, в покое высокую гармонию, и ведь никто бы не обвинил его в этом отречении, в предательстве. Ему уже не подняться, говорил я себе, чао, маэстро, чао! — но, как уже случалось, снова я ошибся насчёт Антонио Сальери.

Он стал меньше сочинять сам, однако теперь уйму времени жертвовал ученикам, и эти ученики, в дополнение к нашим, к своим доморожденным, театральным, пребывали отовсюду, даже и из других стран, и не только желторотые, робкие не уверенные в себе новички, но и уже прозвучавшие в полный голос композиторы, — сплошная вереница тех, кто в коридорах Венской оперы спрашивал с застенчивой вежливостью школяров: «А, простите, где можно найти маэстро Антонио Сальери? Мне назначено...»

Впечатляло, скольким музыкантам мира было известно само имя маэстро, сколько их ехали за тридевять земель в Вену, тратили деньги на дорогие гостиницы или из экономии ютились в почти ночлежках, в общарпанных углах с клопами, — лишь бы брать уроки гармонии и композиции, — уроки озарения! — у Антонио Сальери.

Уже потом, спустя годы, я пытался объяснить себе, почему Сальери так переменялся тогда в характере, в поведении, почему, отодвинув на дальний план собственные амбиции, своё совсем немалое, я уверен, честолюбие, взялся передавать накопленные им в поисках, в удачах и разочарованиях, — все эти бесценные свои знания и откровения — другим, посторонним, незнакомым людям? Думаю, после семейной трагедии, — а, может, прибавилась и кончина Моцарта, — к маэстро, ещё полному сил, в одночасье пришла мудрость библейского старца: все мы смертны, и даже слишком неожиданно, не ко времени, слишком несправедливо смертны.

Славы Сальери хватило бы на десяток музыкантов-творцов, — да чего уж там! — может, и на сотню талантов хватило б его славы, и потому, наверно, он ею особо и не дорожил. А раз всей славы не соберёшь и с собой не унесёшь, то подари шанс на успех, на не меньшую славу другим, достойным, — только б не ошибиться, кто действительно достоин. Так, наверно, он думал. Хотелось бы мне примерить шкуру Сальери, но, увы, не застёгивалось на моих плечах эта шкура, спадала с плеч: у меня же не было и толики его славы, да даже признания в родном театре. А славы, на мой голодный взгляд, как и денег, по мнению большинства, не бывает чересчур много.

В ученики к Сальери я уже не набивался. Два гения поставили крест на моих надеждах, зачеркнули меня, чего ж тогда надрываться? И так же, как иные вынуждены поневоле извратиться от чревоугодия или иных дурных привычек, так и я всё-таки пересилил свой композиторский зуд.

— Слава богу, дорогой, похоже, миновало, — говорила тогда жена. — Не решалась тебе сказать, думала, болезнь у тебя, очень плохая, с лица сошёл. А теперь вон, поправился, пополнел даже, очень тебе идёт, и солиднее, приятно смотреть. Помогли, значит, капельки докторские, слава богу, слава богу!

Однако слова жены не обрадовали меня. Солидный и бездарный — забавное сочетание, обхохочешься... Я на самом деле частенько принимал капли от желудочных колик, но придерживался в еде привычного рациона и вряд ли причиной внешних приятных перемен стал мой подлеченный желудок. Когда ж, интересно, у меня был убитый вид: когда сочинял музыку, пытался и верил, или когда гении вынесли мне приговор? Мечты придают силы, а моя — отнимала? Почему? Потому что всё-таки побаивался, не верил безоглядно, пан или пропал, до конца, — за это и награждала подзатыльниками, и изматывала, истошала? Глупо, наверно, демонизировать мечту, придавать человеческие черты собственному сокровенному желанию, прихоти, но теперь мне действительно стало спокойнее, на многое смотрел словно издаека.

А господину Сальери для занятий с новыми, неиссякаемыми учениками администрация предоставила даже отдельный класс, по вполне прозаической причине: львиная доля от ученической оплаты шла непосредственно в казну театра. Своим помощником, — записывать в книгу очередь и поступления, — Сальери назначил молодого потомственного флейтиста. Парень исполнительный, на лавры композитора не притязал, не отвлекался, но в музыке всё-таки разбирался, мог отличить зёрна от плевел и после предварительной беседы с учениками сообщал господину Сальери своё профессиональное мнение, свою оценку. А поскольку с этим словоохотливым музыкантом, как прежде и с его отцом, я частенько играл в одном ансамбле, то он непринуждённо со мной и поделился, не без эмоций, впечатлениями от занятий в классе Антонио Сальери:

— Знаете, вот убейте меня, порой не понимаю господина маэстро! Приходят солидные, уважаемые, состоятельные господа, приятно смотреть, и манеры, и всё, готовы платить хорошие деньги за себя или своего отпрыска, а маэстро Сальери даст им пробный урок и просит меня передать господам: мол, больше не сможет помочь им, слишком занят, и просьба не обижаться. Но вот появился к нам один, — с позволения сказать, господин, — в костюме, будто корова жевала. Да может, вы его уже встречали в театре: коренастый, голова квадратная, в угрях, волосы всколочены, не попадался вам такой? И вот, стал он играть импровизацию — чуть рояль не обрушил, а под ногтями грязь — репу сей. И это бы ладно, но такой от него, извините, амбре, — как от навозного жука, рядом хоть нос зажимай. Ну, маэстро Сальери взял его ноты, почеркал изрядно, крючков наставил, вернул этому господину и говорит: «Почистите, сделайте одолжение, и не только ноты. Здесь всё-таки королевская опера, а не королевская конюшня.» Вы б видели дальше! Этот субчик подумал, намёк понял, и хватя маэстро за горло, как клещ, грязными своими когтищами, хорошо, я подоспел, насилу оттащил. Ну, думаю, всё, нахал этот хотя б не посмеет больше сунуться. Ага, как бы не так. Явился, не запыхался, на следующий же день! Чуть почистился, обрызгался дешёвыми духами, но запахок-то всё тот же, никуда не делся. Бросает ноты на стол маэстро, чуть не в грудь ему, а наш маэстро и бровью не повёл, посмотрел, поставил несколько значков, покивал головой и вдруг говорит мне, — вы не поверите, что сказал маэстро: «Назначьте, говорит, господину Бетховену минимальную оплату, с моего разрешения». Я бы этого Бетховена в окно б выкинул, чтоб он на корячках уполз и больше к Венской опере на пушечный выстрел не приближался, а ему

такая честь, каждый день теперь является со своими сочинениями к маэстро, а то и без очереди даже. Настырный, жуть! Поразунал я про этого Бетховена. Оказывается, у него девиз: «Музыка — всё, остальное — ничто!» И плевать ему хоть на одежду, на приличия, хоть на что. Его бы в больничку запечатать, на всю оставшуюся, а он гармоний творит, рождает же земля таких чудиков! Да и музыка у него — не пойму, по-моему, странная всё-таки, явно перебор, мне кажется.

Пусть их, говорил я себе. Иллюзии гармонии, мои обольстительные сладкоголосые сирены, обманные химеры, едва не погубили меня, хватит. По-прежнему, без единого опоздания и замечаний, являлся я в оперу, репетировал, исполнял чужую музыку и с Сальери, и с другими дирижёрами, однако скрипка уже утомляла, изнуряла. Уже очень уставал, ложился спать довольно рано, но уснуть подолгу не удавалось, ворочался и так, и эдак, зарываясь в сон, в эту мутную тину настороженного сна, и только под утро проваливался в забытие, а пробуждался без малейшего желания идти в театр, на службу, не помышляя уже ни о какой славе, ни о каком признании, и лишь с надеждой, что новый день моего каторжного труда — это всё-таки очередной шажок хоть и не к роскошному, но надёжному пенсиону. И когда пенсион был назначен, я ненадолго задержался в оркестре, пусть другие, уже без меня, маются и тешат себя пустыми надеждами...

Свободного времени стало вдруг сразу с избытком, с верхом, как, знаете, пены на пивной кружке, хоть дырочки выдувай со всех сторон. Но сидение и вечные хлопоты в доме тяготили; гулял по Вене, — красиво, много не замечал прежде, не успевал, — а когда уставали ноги, отдыхал в погребке неподалёку от нас, сидел, приглядывался, слушал, немало забредает сюда любопытных персонажей. Не знаю, почему, заинтересовал меня, к примеру, один пожилой педантичный господин с потёртыми локтями камзола, похоже, служащий. Он приходил вечером в одно и то же время, молчаливо сидел в неприхотливом месте где-нибудь сбоку, отпивал вино с долгими паузами, и положив руки на прижатые колени, замирал истуканом, со взглядом, недвижно обращённым в клубы табачного дыма или в пустеющий бокал, а уходил, будто очнувшись, медленно, обречённо, словно ему уже некуда возвращаться и ничто хорошее не ожидает его дома, у одинокого домашнего очага. А вот я, имея приличный дом, имея приличную семью и довольно приличное общественное положение — не был ли я так же одинок, как и он? Не знаю. О многом, часто не о самом приятном, задумаешься, выпивая в одиночку.

Впрочем, хватало здесь и веселья, чаще чрезмерного, как конское ржание, звучали скабрёзные, охальные истории, отдаваясь хохотом изо всех углов. Да и газету можно было не покупать, все новости тут собирались. В погребке мне было почти нескучно, а всяк развлекается, как может.

Но как-то, прогуливаясь по городу, натолкнулся на степенную, важную барыню, выходила со служанкой из магазина. Дама меня узнала, её оболтусов я давным-давно пытался учить музыке, и пригласила к себе, на семейный обед. И сходил к ним, разок, потом другой, что я терял? Болтали, играли в карты, шутки-прибаутки, лучше карт для бесед занятия и нету: не тарачишься на собеседника, смущая его, а смотришь в свои картишки, переставляя по рангу, сходил нужной картой, — заодно и словом умным зайди, беседа и течёт себе, и хоть так её направь, хоть эдак, лепота.

Раньше, во времена репетиторства, бывало, приходилось мне развлекать господ собственной игрой на инструментах, и на скрипке, и на клавесине, за просто так, за комплимент, — не мог отказать, боялся их неудовольствия. Но отныне я не зависел от господской милости, ничего уже не стоило с улыбкой отказать, под предлогом, что мало теперь

репетирую, а играть ниже своего уровня музыканту великой Венской оперы не пристало, я ж, извините, не пиликальщик с бульвара. И господа не настаивали, не раздражались, наоборот, к столу звали, потчевали.

И набаловали! Прежде непривередливый в еде, почти равнодушный к ней, я быстро приохотился, открылась мне сия приятная сторона прозаической, обыденной жизни, стал гурманом, — увы и ах, слаб человек пред соблазном. А вино в знатных домах, — скажу я вам, не просто восхитительное, сотворённое искусными чародеями, это бальзам души, его не пьёшь, как в кабаке, лишь бы в голове помутилось, его, держа бокал за хрустальный стебелёк, смакуешь лёгкими глотками, словно нектар, от которого в уме ощущение высоты снисходительной и будто б даже вдохновения. Такое вино стоило визитов.

Да и закуска — лучше любой ресторации, от выписанных поваров, с приправой, с соусами бесподобными, смешанными и взбитыми из неких чудесных ингредиентов, — пальчики проглотить. Правда, мои пальцы, музыкальные и самоценные, глотать неприлично, тут не увлекайся, вкушай с манером, ты и сам гость достойный. Впрочем, от разнообразных конфет и воздушных пирожных на дорожку, угостить домашних, я тоже не отказывался, из вежливости, я человек воспитанный.

Другие богатые дома тоже стали звать, и там лукулловы угощенья, но иллюзий у меня не было, на счёт господ не обольщался. Прекрасно понимал подоплёку, истинную причину их гостеприимства. Всё просто: снобизм, самый обычный снобизм. Культура была и всегда будет в моде, а высокая культура, высокое, изысканное искусство — такая же роскошь, как особняки, экипажи, прислуга, — только безмозглый олух с этим поспорит. Конечно, господ чему-то учили, манерам, танцам, чуть рисовать, чуть музицировать, немножко петь с импозантной осанкой, всего по чуть-чуть — для блезиру. Но им же хотелось слыть утончёнными, возвышенными, просвещёнными особами! Да вот ведь беда: ни богатство, ни знатность не даруют культуру, не жалуют её царским жестом, не преподносят на именины вместе с бриллиантами, культуру постигать надо, с усердием, с восхищением, с биением сердца, а то и с отрешением, как я постигал мою музыку, вот в чём штука. Только зачем господам все эти жертвы? Не надо им этого, им и видимости за глаза хватит, — так, общих фраз, немножко звучных, эффектных терминов, но лучше всего — пикантных слухов, эдак небрежно щегольнуть подобной, особой осведомлённостью в своём избранном, узком кругу, — не всё ж обсуждать наряды, состояния и скакунов из чьих-то конюшен?

И кто, как не я, бывалый музыкант великой, величайшей Венской оперы, подходил на роль поводыря в мир прекрасного? От меня — музыкально-театральные сплетни-новости, да погорячее, от них — деликатесы и отменное вино, — честная сделка, не хуже рыночной!

Тем более, что проблем с добычей этих горячих новостей у меня не возникало. Иногда заходил в театр, как бы по старой памяти, из ностальгии, и вахтёры уважительно мне кланялись, но заглядывал всего на несколько минут — задерживаться там не хотелось: пробежал глазами внутренние объявления и расписания, — и скорее прочь отсюда, от горьких воспоминаний. А потом — ещё проще. Пути-дорожки, адреса с маршрутами знакомых музыкантов и артистов сцены были мне известны, я поджидал кого-то из них на своей, так сказать, охотничьей тропе и, перейдя с прогулочного *andante* на поспешное *allegro*, достигал наивную жертву, обгонял и как бы случайно оглядывался или же шёл навстречу — и в любом случае изображал приятное удивление: сколько лет, сколько зим! — шли рядышком или останавливались, слово за слово, — и я узнавал всё, что хотел узнать, и даже больше.

А самое-то ценное и забавное: эти новые слухи я как бы перепродавал аж по нескольку раз, рассказывая их в разных богатых домах, и везде мне были рады, везде я пил и ел в своё удовольствие за чужой счёт, заод-

но, кстати, экономя собственный, — фактически семейный, — бюджет. И с моей стороны никаких затрат и усилий, чудесно!

О господине Антонио Сальери я старался не вспоминать, и всё же однажды, когда совсем расклеился сон, может, оттого, что переел в гостях, снова с утра отправился к его дому, постоял в сторонке; видел издали, как погас тусклый огонёк на их кухне, и Сальери, наконец, тихо вышел из дому. Никто его не провожал, преданной его супруги уже не было на этом свете.

Перед мостом Сальери приостановился, подавая калеке на культяшке, а я, таясь позади, разглядывал господина капельмейстера с особым, с пристальным вниманием, возможно, и с пристрастием. Сдал Сальери, сдал: и плечи опущены, и каблуки стоптаны, и вены на ногах, да вон какие, как змейки, выются под серыми чулками, и чулки надеты неровно, кривенько надеты, никто теперь не присматривает.

И уже не пробегает он игривой рукой по перилам, а хватается за них, помогая себе ковылять по мосту. Правда, ковыляет шустро, прямо бегунок, не сразу и угонишься. По старой привычке, на свою дрянную, пахучую улочку? Но я не угадал. Сальери кратчайшим путём ковылял к театру, и там его, как возбуждённые заговорщики, уже ждали некие господа, и степенные, и молодые, раскланивались радостно, расшаркивались с маэстро, и тот, придерживая массивную дверь, пропускал их всех впереди себя. Ученички, новенькие, страждущие прекрасной гармонии, мечтатели...

И опять будто зачесалось моё застарелое любопытство, опять подкараулил, подстерёг я флейтиста, помощника Сальери, выведал, разговорил его насчёт занятий в классе композиции. Помощник на сей раз посоветовал, что характер маэстро меняется и, увы, не к лучшему. Угостить кого-то со своего стола — это всегда пожалуйста, и денег легко одолжит, не спросит, пока сам не вернёшь, однако в музыке спуску не даст, а порой и явно перебарщивает.

— Меня он не трогает, — говорил помощник, — я ж не композитор, моё дело сторона, только тетрадку веду. Но учеников терзает, как коршун. Вот одного сам же выбирал, среди многих, а клюёт больше всех. И что, мол, за слезливые вздохи, и уберите из музыки жеманство, сентиментальную шелуху, отставьте только кристалл, ну и в таком духе. А паренёк этот, Шуберт, совсем молодой, застенчив, как красна девица, слова не возразит, не то что тот, настыра нечёсанный, Бетховен. Жалко паренька. Поправил он всё безропотно, заиграл, маэстро Сальери слушает, слушает, — смотрю, платок достаёт, он у маэстро мятый, как тряпича ветхая, — глаза вытирает, и тут же браниться стал, чтоб здесь никто не смел курить. А никто в классе никогда и не курил, даже в отсутствие маэстро, не посмели б, я знаю, я за порядком смотрю... В общем, не всегда поймешь нашего маэстро, но скучать не приходится.

Вот что было сказано об уроках Сальери.

Хорошо, что меня эта нервотрёпка не касается и ничто уже не связывает с господином Сальери, подумал я тогда, видать, и правда, всё в жизни к лучшему. Но словно накаркал себе: пришло домой приглашение, с нарочным, на торжество в Венской опере, — юбилей маэстро Антонио Сальери.

Повод для вежливого отказа я нашёл, это нетрудно, но всё-таки в назначенный день прогулялся к празднично наряженной, расцвеченной полотнищами Венской опере: все дороги вокруг были запружены экипажами, перед театром толпился народ, кому не досталось места внутри, а через распахнутые окна здания разносилась музыка — погурри из сочинений Антонио Сальери. Не мой праздник. Мне тут делать было нечего.

Однако вскоре я уже заскучал по бесплатному дорогому вину и деликатесной закуске, заскучал по вальяжным, нога за ногу, беседам в

богатых домах, а юбилей маэстро, как ни крути, не обойдёшь, не проигнорируешь, обязательно расспросят, событие всё-таки, так что через несколько деньков после юбилейной шумихи я зашёл по-свойски в Венский театр, поглазел — и поразился. Не множество уже начинающих вяннуть цветов в вазах на подоконниках и на полу, а лавине поздравлений господину Сальери, праздничных адресов, открыток, и от знаменитых оркестров мира, и от академий, и от великих музыкантов, и от толпы восхищённых разноязыких поклонников,— на стенах места свободного не оставалось. Нашёл я тут и благодарное приветствие от угрюмого Бетховена (хотя сей господин явно не любил считать себя кому-то обязанным), а среди множества дифирамбов особо выделялась, красуясь на видном месте, самозабвенная, пространная ода юбиляру молодого Шуберта: впечатлительный и подающий большие надежды юноша, отправляясь в свободное творческое плавание, отзывался о своём учителе в самых восторженных, превосходных эпитетах.

Так было... Что сказать... Я вот вам называю имена: Бетховен, Шуберт, — и других ещё много назову из выучеников Сальери, — а вы хоть слышали их, хоть представляете, что это за имена? Бетховен набирал славу уже тогда, Шуберт попозднее, но теперь признано: они — гении, понимаете, представьте, гении! Таких нет рядом, ни рядом с вами, ни со мной, ни даже с Их Величествами. Они уже над всеми нами, над Империей, над миром, — как звёзды, как небо, как планеты. И вот они, эти великие, эти гении, слушали Сальери, словно прилежные школяры, внимая его вьедливым, нелюбезным замечаниям, скупым комплиментам или его старческой брани, как вердикту безоговорочного бога. Он их разве что в угол не ставил, поедом ел, а в итоге все оказались благодарны ему.

Но представляете, каких гигантов выпестовал? Да любой, кто был бы упомянут в истории рядом хоть с одним из этих великих имён, обессмертил бы себя. А Сальери это не интересовало, его не интересовали громкие имена и шум славы, этого голодного коршуна интересовала только гармония, музыка, ради неё он не жалел ни себя, ни других.

Среди тех посвящений мелькнул такой образ: гармония музыки — священный Грааль, а маэстро Сальери — его верный страж-рыцарь. И мне сразу представилось: монах Антонио несёт по катакомбам, сквозь тьму, священную чашу с пламенем, загораящая трепетный светильник от лишних, посторонних, ненужных взглядов. И от меня тоже... Как от прокажённого...

Уходил я из моего, некогда родного театра, закусив до бесчувственной боли губу, но отправился не в гости к сытым и богатым, а мотался бесцельно по Вене и осел, наконец, в дешёвом кабаке. Отвернувшись ото всех, безразлично цедил дрянное вино, вспоминал знакомство с Сальери, и глядя, как по голой, неоштукатуренной, закопчённой стене блестящим чёрным огоньком ползёт вверх ленивый таракан, вдруг убеждённо подумал: я всё равно его раздавлю, или я не я, раздавлю!

Как говаривал мой отец, если негусто с талантами, должен быть характер, хребет. А если и характер мякина, — собери в кулак все свои обыды и злость, но не позволяй никому вытирать о тебя ноги. Даже дрожащая, распоследняя собачонка в подворотне и та огрызается на пинки. Говорил отец правильно, но чем дольше пауза между желанием и поступком, тем призрачнее осуществление цели. И как поддеть почти кристального, незапятнанного маэстро Сальери, не в фантазиях, а на деле? Порой появлялось смутное ощущение: в моём уме складывается неясная пока, причудливая мозаика, — наверно, те бесплотные пронизательные сущности всё-таки не дремали, — однако не хватало лишь некоего связующего фрагмента, чтобы зыбкая, ускользающая картина наконец проявилась и впечатлила всех своей убедительностью. Изощрённые вариации и оттенки мстительных мыслей снова и снова одолевали меня, а что проку? Лишь вино могло приглушить моё отчаянное бессилие...

Но судьба — да пусть даже кипящая преисподняя! — словно услышала мои бессловесные стенания-заклинания — и отозвалась. Отозвалась буханьем барабанов, будто по натянутой барабанной коже со всей дури колотили дубинами; надсадным хрипом и взвизгом духовых инструментов в исполнении бездарного, невесть из кого набранного походного военного оркестра, и сумбурным, без чувства ритма, не в такт, топотом по брусчатке одинаковых, подкованных, и, видно, не всем в размер, больших башмаков. По улице маршировали бравые юноши, добровольцы, кровь с молоком, пушок на губах, молодые, нетерпеливые и полные надежд, — они отправлялись в поход, за азартным приключением и лёгкой победой.

Хм... А вы, любезный, думаете, так и отлежитесь, отвернувшись, на боку? Нет, голубчик, давайте-ка вставайте, помогу вам. И качайтесь, не стесняйтесь, вы мне ритм задаёте, я музыкант, мне ритм не лишний. И я ж не заставляю вас маршировать по комнате, а качаться вам и самому нравится, так ведь? Зато расскажу, что ж тогда произошло. Откуда тот шум и грохот вселенский, весь сыр бор, интересно ж?

Оказалось, была у итальянцев тайная организация, — карбонарии, «угольщики», по-ихнему, мечтали объединить всех итальянцев в одном государстве, как в древние времена, и будто бы единственное, что им мешало — это австрийское иго! Ну не наглецы ли, заявлять такое? По слухам, в Австрии, в её владениях и в самой Вене у карбонариев имелись свои ячейки, некие «венты», куда входили, встречаясь меж собой, — как бы случайно, под невинным предлогом или по делам службы, — господа итальянского происхождения, и не бездомные бродяги, а люди образованные, культурные и состоятельные. Они разрабатывали планы, сочиняя воззвания «За единую Италию», искали сторонников, и тому подобное, а заодно помогали соратникам. В юго-западных пределах Империи мятежники, а среди них были и горячие головы, подстёгивая ход событий, проявляли особую активность. Естественно, власти попытались их прижучить, подавить смуту в зародыше, однако мятежники лишь попятнулись, дошло и до вооружённых столкновений. После внезапных атак на представителей правопорядка карбонарии быстро скрывались в древних, глубоких, как норы, заброшенных жилищах угольщиков или в гористой местности. Насчёт угля не знаю, а приличное оружие у «угольщиков», выходит, всё-таки имелось, и мириться со смутой наша великая, гордая Империя не собиралась, тем паче для наказания неразумных мятежников хватило бы (так вначале думали) даже не регулярной армии, — много чести! — а простых, чуть наученных добровольцев, благо молодёжь мечтает о подвигах и славе. И теперь бойко топающим, бесшабашным добровольцам жители столицы махали руками, шляпами, посылая воздушные поцелуи и весёлые слова напутствия:

— Насыпьте им перцу, ребята, прямо на макаронину! И сразу в уголь закопайте, по самое не могу! Только не задерживайтесь, туда и обратно, отпразднуем!

Итальянцы в своих харчевнях и за прилавками попритихли, оно и понятно, а газеты пестрели, кричали победными реляциями, потом рассказывали о благородном самопожертвовании австрийских добровольцев во имя святых идеалов и о жестоком коварстве итальянских мятежников, но, думаю, в убийственной схватке обе стороны стояли друг друга, на войне, как на войне.

Эйфория сходила на нет, а вот слухи появлялись разные. На рынке, собирая вокруг себя зевак, одна тётка рассказывала, что подружка её родственницы будто бы видела на границе. Вереница телег, а на них гробы, некрашенные, по несколько штук, ремнями от вожжей перевязаны. Сколочены гробы наспех, грубо, как простые ящики, из неструганных сосновых досок, ещё смолой пахнут, и много этих гробов, много. На рытвине одна телега опрокинулась, и из-под одной крышки рука пока-

залась, молоденькая, с кольцом обручальным. Колечко дешёвое, медное, тьфу, а не колечко, не успел паренёк денежку накопить, а дома, поди, и мать ждёт-не дожждётся, боженьке день и ночь молится, и жена молодая у окна сидит, выглядывает, может, на сносях. Такое вот творят эти крабонарии, чтоб их! Зато тут у них, в Вене, и лавки, и булочные, а они ещё, может, нас этими булками и отравят, досыта накормят!

Ставни итальянских лавок закрывались, с улицы мог залететь бульжник, но кто-нибудь из прохожих и на этих закрытых ставнях царапал куском кирпича нецензурную брань, которая в приличном переводе звучала бы так: «Не нравится с нами — вон от нас!» Хотя многие итальянцы не просто проживали в столице, а давным-давно обзавелись здесь семьями, и детьми, и внуками.

Не хочется такое вспоминать, но бывало, и мочились под двери итальянских магазинчиков, а то, извините, и похуже. Я осуждаю подобное, мы культурная, цивилизованная нация, однако ж дураков везде хватает, как говорится, не без уroda, просто такая была ситуация. Совершенно искренне скажу: я даже сочувствовал итальянцам Вены, — кроме одного единственного.

Надежда ранить, уязвить, поквитаться, а, может, и расправиться с Антонио Сальери всё-таки вернулась ко мне, — я увидел недостающее звено цепи, которая, опутав ноги маэстро, опрокинет его, прямо в грязь, в нечистоты, в несмываемый позор. И пусть он познает ярость небрежно им оскорблённого, но помнящего всё.

А хотите загадку, любезный? Чем отличается сказка от клеветы? Молчите? Ладно, отвечу за вас, не напрягайтесь, качайтесь. В сказку вначале верят, а потом нет, а с клеветой — всё наоборот, совсем всё наоборот! А, как вам? Сам сочинил, иногда люблю каламбуры, балуюсь. Ну молчите, молчите...

Разумеется, снискать лавры клеветника у меня не было ни малейшего желания, но в том и состоит искусство злословия, что желаемое тобой предполагают и высказывают вместо тебя другие. Как говорится, горячие угли неси на лопате, а хулу — на чужом языке.

Даже в далёких от политики респектабельных домах, пусть и вскользь, упоминалась в беседах итальянская смута, и мне надо было лишь подождать, когда обратятся ко мне с привычным вопросом: а как там жизнь в Венской опере, как музыканты?

— Вы имеете в виду итальянцев? — уточнял я.

— Почему итальянцев? — с недоумением смотрели на меня.

— Да слухи разные ходят, — отвечал я как бы неохотно, — уж слишком много у маэстро Сальери в столице знакомых итальянцев, и не только музыкантов.

— Естественно, он же сам итальянец!

— Верно, даже от акцента не избавился. Только речь не о законопослушных итальянцах. О других, совсем о других...

Наступало лёгкое замешательство: «Но... каким образом? Маэстро Сальери, он же такой предупредительный, воспитанный, любезный...»

— Да, Сальери вежлив, кто бы спорил? Но вот вы говорили: карбонарии, мятежные итальянцы. А как, по-вашему, господа, если есть у заговорщиков предводитель, — как бы он выглядел? Страшный такой, злобное, зверское лицо? Чтобы все сразу показали на него пальцем: вот он, разбойник, схватите, закуйте его в железо, в кандалы? Так? Нет же, совсем наоборот, он будет как раз со всеми любезен и вежлив, он будет вне подозрений. И, логично предположить, обязательно итальянец. Да ещё знакомый со множеством итальянцев в столице, от кузнецов и пекарей до музыкантов и аптекарей. Узнаёте этот портрет, господа? Ну же, смелее, не пытайтесь обмануть себя, вы уже догадались? Увы, некоторые грешат именно на капельмейстера Сальери. (Все изумлённо ахали.)

А чем вооружены эти «угольщики»? Не копьями, не кольями и не половниками, у них, господа, отличные ружья, с порохом и пулями смертельными, на всё деньги надо, — серьёзные деньги, — да где б их взять? А вы посмотрите на дом маэстро Сальери, прогуляйтесь, посмотрите, из любопытства. Совсем не роскошный особняк, а скромный, заурядный дом, каких полно кругом. А он капельмейстер Венской оперы, у него жалованье — только мечтать можно, куда ж деньги тратит? Выводы делайте сами, господа, а я всего лишь пересказал подозрения других о маэстро Сальери.

Так вещал я в знатных домах, хотя ни от кого, никогда не слышал и намёка на какие-то козни Антонио Сальери против государства: этих козней просто не было, маэстро жил музыкой, музыка забирала все его силы и время.

Но, думаю, даже вы догадаетесь, какие мои слова о Сальери оказались самыми эффектными и повергали присутствующих в шок? Пересказ, мой пересказ событий сразу после смерти Моцарта. В Венской опере много сценических актёров, поневоле чему-то научишься от них, репетируя вместе. И мои слушатели вдруг видели, как подрагивает бокал у меня в руке, от волнения, конечно, от нежелания возвращаться в болезненные воспоминания, но, будто бы найдя в себе мужество, я всё-таки говорил, почти со страдальческим лицом:

— Кое-что, господа, не даёт мне покоя уже долгие годы, хоть и пытался изо всех сил выбросить из головы, забыть навсегда... А теперь всё-таки скажу. Как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Только, прошу, не перебивайте.

Словно через силу я делал глоток вина, малейшие шорохи в зале стихали:

— После неожиданной смерти Моцарта с господином Сальери произошло нечто непонятное. Его мучила совесть, он твердил, что виноват, с ним внезапно случился припадок, прямо в кабинете при нас, музыкантах, и тогда его препроводили в больницу, где лечили от душевного расстройства. И там он тоже каялся, что виноват. Но если б только раскаяние...

В этой самой больнице мне и моему товарищу случайно довелось услышать ещё более загадочное — некую фразу. От несчастного больного юноши. Фраза совершенно странная, господа. И именно из-за этой странности я не могу её забыть...

Моё описание того больного увальня, его повадок, неряшливого вида и клубничного крема на губах получилось столь реальным в своей будничности, прозаичности, что слушатели уже подвигали кресла и, заинтригованные, подавались ко мне, боясь пропустить хоть слово. Но я не спешил, держал паузу и, будто бы ещё в нерешительности, медленно поворачивал за ножку пустой бокал, глядя, как лучи от хрустальных узоров причудливо разбегаются по столу, пока кто-то не выкрикнул в нетерпении:

— Так что ж он сказал-то, ну говорите уже!

— Он сказал: «Сальери любит сладкое, а Моцарт яд не любит». И повторил эту фразу. Дословно.

— Действительно странно, — разочарованно протянул один из слушателей.

— Боже милостивый... не может быть, — воскликнул другой, поражённый страшной догадкой.

— Может, господа, может... Мой спутник, музыкант из Венской оперы тому свидетель. Клянусь, как ни странно, но был упомянут яд... И несколько раз.

Я видел смятение слушателей... Бенефис моей мести начинался. Излишне говорить, что собственную клевету о Сальери я пересказывал как рассуждения, как вполне обоснованные подозрения других, не мои, и не выпаливал всё сразу, единым духом, а лишь начинал солировать пер-

вой скрипкой, но потом скромно, незаметно уступал место присутствующим, чьему-то оханью и изумлённо поднятым бровям, встревоженным вопросам и напуганным возгласам; иногда заученный мною рассказ повторял слово в слово, даже с теми же интонациями, как заученную роль, а иногда, так же, как в наш чудесный, ароматный венский кофе мы добавляем по вкусу сливки, мёд и корицу, непринуждённо импровизировал, я ж не зря музыкант. И по лицам слушателей, по их трусливым взглядам, по растерянным рыбьим ртам угадывалось: они дрогнули, поддались, сдались, они уже верили в злодейство Сальери, и даже его учтивость воспринималась теперь как расчётливое, давно задуманное против Великой империи коварство.

Гамельнский крысолов и тот позавидовал бы мне, — и никакой дочки, только слова!

А в высокородных, дворянских домах было нелишне намекнуть: вряд ли Сальери признаёт величие монархии и заданную богом иерархию сословий, — сам-то ж он родом из семьи неудачливого лавочника-мясника, под стать всяким там якобинцам, вот и причина, господа, чему ж удивляться!

Но однажды, и как раз в доме господ дворян, я чуть не погорел. Был приглашён в гости графиней, женой генерала. Говорят, в молодости генерал отменно играл на многих музыкальных инструментах, ко всему прочему он был ещё и храбр, участник великих сражений, и в одном бою справа от него, восседающего на коне, взорвалось ядро, сильно ранив вояку. Теперь он хромал, правую руку в перчатке держал на перевязи, и разумеется, сам уже не музицировал. Однако вопросы о музыке и исполнительском мастерстве задавал столь выверенные, точные и дотошные, что порой и меня, высококлассного профессионального музыканта, ставил в тупик. Напрягаться в гостях, а то ещё и попасть впросак от подобных вопросов мне не хотелось, не горел желанием; хозяйка дома это угадывала и потому, приглашая меня в гости днём, поболтать и поиграть в карты, передавала устами посыльного, что её муж, к сожалению, не сможет присутствовать, он уехал к друзьям, боевым товарищам, а это, увы, надолго, допоздна. Приятный намёк я понял и сразу же отправился в знатный, аристократический дом.

Здесь мне нравилась одна особенность, свойственная только высокородным, аристократическим домам. Вышколенная прислуга. Предполагаю, господа хоть иногда испытывали неприязнь к гостям, но воспитание обязывало быть вежливыми, любезными. Зато слуги явно компенсировали это неприятное для хозяев ограничение. С усами и бакенбардами, такими же белыми, как и их парики, в одинаково серых строгих камзолах, эти чопорные морщинистые старцы взирали на прибывших в дом с холодным высокомерием, словно сами были невесть каких голубых кровей. Порою и холопы умело вживаются в не свойственный им гордый образ. И было особенно приятно, когда сии надменные особи (почти-точно ставили на колёсную тумбочку подле меня поднос с хрустальным графинчиком прекрасного вина, бокалом и закуской. А мы — хозяйка дома, её брат, её подруга и я, — начинали игру в карты. Вдруг в зал вбежали две совершенно одинаковые, пучеглазые, рыжие и маленькие, словно игрушечные, но звонкие собачонки, стали ревниво крутиться и подпрыгивать возле хозяйки, и той пришлось взять обеих на колени, ласково тиская каждую. И, так сказать, благодарность не заставила себя долго ждать: когда хозяйка отпустила животных на пол, одна собачонка изрядно и пахуче нагадила на паркете, при этом продолжая вертеться и радостно лаять. Позванные в колокольчик девушки унесли собачек, подтерев за ними, и распахнули окна.

Было душновато, дамы обмахивались картами, как веерами, а я, фраза за фразой, уже как по накатанной колее, повторял то, что говорил

и в предыдущих домах: о шумном успехе маэстро Сальери в бунтующем Париже, среди всяких смутьянов, якобинцев, и о странных словах маэстро в кабинете после смерти Моцарта, и о ещё более странных словах душевнобольного, — и этому есть свидетель, тоже музыкант, как и я, могу назвать его имя! — о множестве сомнительных знакомых Сальери среди разного итальянского люда по всей Вене, об итальянцах-мятежниках, этих зловещих карбонариях, — а ведь кто-то им помогает, по крайней мере, деньгами, — говорил и об очевидной скромности жилища маэстро, хотя при его-то заработках мог бы кататься как сыр в масле и жить в роскошном особняке, ан нет, — и непонятно тогда, на что же он деньжища свои тратит?

И опять моей речи удивлялись, не хотели верить, но сами же строили пугающие предположения, а брат хозяйки, по характеру тряпка, флюгер, и нашим и вашим, услужливо подпевал мне в разговоре:

— Я слышал от одного знающего приятеля, даже в «Марсельезе», в гимне этих французских разбойников, якобинцев, якобы слышится какая-то мелодия господина Сальери, так ли это?

— Увы, — опустил глаза, я скорбно покачал головой, — увы... Моцарт был для всех открытая книга, а вот Сальери... Взять хотя бы его ученика, Бетховена. Знаете, кому он посвятил свою симфонию? Нет? Правда, не знаете? Ну, господа, удивляюсь вам! Тому, кто возомнил себя гонителем королей, сокрушителем и могильщиком империй, мусьё Бонапарту!

Мои слушатели охали, прикрывая веерами карт изумлённые рты, а я, прибегнув к уже опробованной тактике недомолвок, само собой, не стал излагать продолжение истории, — что когда узурпатор Наполеон объявил себя императором, Бетховен посвящение Бонапарту с гневом порвал в клочья. Зачем мне всё это разжёвывать? Я ж не просветитель аристократии.

Через открытые окна доносился гул улицы, шум проезжающих экипажей, ржание коней, голоса прохожих, и я всё более и всё громче вдохновлялся моими придуманными изобличениями:

— А может, господа, ученику Бетховену просто-напросто передались настроения и мысли наставника Сальери? Не сочувствовал ли маленький Сальери маленькому Бонапарту, — корсиканец ведь, говорят, даже и писать умел по-итальянски? У них и акцент у обоих, почти что родственные души! Да, маэстро вежлив, да, отзываются о нём приятно, но ведь не зря ж говорят и про дым без огня, и про тихие омуты... Нет, нет, я ничего не утверждаю, воспитание не позволяет мне высказываться резко, но согласитесь, господа, очень многое в подобном поведении маэстро Сальери наводит на размышление и выглядит совсем, так сказать, не очень, верно ведь?

Я почти закончил свою обвинительную пафосную речь, как вдруг сбоку от меня раздался спокойный мужской голос, голос Его Высокопревосходительства, и в эти мгновения, к ужасу своему, я понял шевеление гостей и странную, обращённую ко мне выразительную мимику хозяйки дома: она пыталась предупредить меня, подавала знак.

— Здравствуйте, — сказал генерал, и гости, включая меня, привстали с приветственным поклоном. — Задержался в соседней комнате, просматривал корреспонденцию и поневоле, случайно слышал ваш разговор.

(«Ага, ну как же, поневоле! — панически пронеслось у меня в голове. — Небось, эти аристократы даже зазорным не считают подслушать разговоры прислуги и всех, кто ниже по крови, — случайно, разумеется! Или у генерала армейская привычка — всё держать под контролем, тем более в своём доме?») Мои ноги подкашивались, я не знал, какие именно слова моей необузданной речи расслышал хозяин дома.

— В силу занимаемого положения, — продолжал генерал, попросив всех садиться, впрочем, глядя именно на меня и обращаясь как бы ко мне, поэтому я не посмел сесть, — мне, пожалуй, известно несколько

больше по сути разговора. Поэтому доложу. О маэстро Бетховене выскажу лишь своё мнение. Большие музыканты, как и большие поэты, нередко мятежны духом, этим живёт их творчество, но, цена их талант, мы допускаем и их право на ошибки и заблуждения. Теперь о маэстро Антонио Сальери. Дочерям своего учителя, Флориана Гассмана, маэстро вместе со своей супругой дали великолепное воспитание и образование, заботясь о них, как о собственных детях. Одно это уже свидетельствует о бесспорном благородстве маэстро Сальери. Далее. Господин капельмейстер жертвует больным музыкантам, которые уже не способны зарабатывать на жизнь своим искусством. Именно на средства маэстро, — огромные средства! — был создан приют для детей умерших музыкантов и весомая помощь приюту продолжается, а дети, если хотят, обучаются музыке, и, разумеется, бесплатно. Он же — учредитель премий для начинающих талантов. Это всё Антонио Сальери. Странно, что вы, музыкант Венской оперы, этого не знали и не сказали... Впрочем, маэстро Сальери из скромности не афиширует свою щедрую благотворительность, считая её долгом христианина. Может, поэтому вы и не знали... Однако из ваших уст прозвучало предположение о деньгах маэстро для бунтовщиков, для карбонариев...

— Ваше Превосходительство, я лишь имел в виду, — суетливо, суматошно проговорил я, — что у маэстро Сальери сердце болит за соплеменников, как-никак, сам итальянец, мы ж всегда радуем за своих...

— Я попросил бы меня не перебивать, — не возвышая голоса, но сквозь зубы, властными, жёсткими губами произнёс генерал, глядя на меня в упор, и аккуратно замазанный уродливый шрам на его щеке побагровел. — Так вот, даже помогая соплеменникам, Антонио Сальери занимался совсем не смутами, а наоборот, другим: он умножал славу Австрии, и нынешнюю, и будущую. Это он учил гармонии и Бетховена, и Шуберта, — вовсе не итальянцев, замечу вам, — и других знаменитых музыкантов, чьи имена, чьи творения ещё прогремят на весь мир громче, слышнее всяких пушек, салютом нашему великому Отечеству. Одно мне непонятно: что побуждает вас говорить всякий вздор о маэстро Сальери? Нестерпимая зависть?

Всего лишь слова, но слова высокой особы, почти оплеуха, на виду у всех я терял лицо, я летел в пропасть, однако, иногда, знаете, страх смелее отваги. И я заговорил с не свойственной мне экспрессией и, пожалуй, немного дерзко, — мол, никак нет, Ваше Высокопревосходительство, я глубоко чту и уважаю Антонио Сальери, он же и мне был учителем, мною лишь пересказаны упорные слухи, но, пожалуйста, поймите и вы меня, я тоже верноподданный Империи, я тоже патриот, как и вы, как и все, и мы беспокоимся за происходящее, но теперь, спасибо вам, всё, к счастью, прояснилось, и я искренне рад, и слава богу, больше никаких сомнений... Я говорил что-то ещё, не помню точно, говорил, говорил, чтобы только смягчить, умилостить, успокоить суровый взгляд генерала, но, когда, наконец, замолчал, стоя на слабых ногах, то подумал с безудержным, необоримым страхом: всё, вот сейчас он скажет ледяным голосом: «Мне бы не хотелось ещё раз встретить Вас в моём доме.» — и пропал, пропал совсем, и слух о произошедшем, о маленьком, но скандале, полетит впереди меня во все стороны, и ни один приличный дом больше не пригласит, не примет меня, катастрофа...

Посматривая на меня с выражением явной гадливости, генерал перевёл хмурый взгляд на свою безмятежную супругу — и удержался от иных, губительных слов, медленно, коряво пошёл прочь, подтаскивая за своим поломанным телом искалеченную ногу.

— Ушёл, — с облегчением и уверенно сказала графиня, когда дёрганые шаги генерала потерялись, погасли, наконец, в просторах соседних комнат. — Что-то он не в духе сегодня. Однако продолжимте, господа. Чей у нас ход? — Я хожу, — живо отозвался её брат, беря карты, и гля-

нув на меня, сей услужливый господин добавил, так, на всякий случай, с примирительной неопределённостью. — Мда, живёшь, и сплошь кругом одни непонятности... Лучше уж бубны да трефы, верно, господа?

Сидящие за столом стали чрезмерно говорливы, а я вдруг сходил не с той карты, забыв, кто козыри; больше помакивал, вино из графских погребов и изысканная закуска потеряли для меня всякий вкус, — и вскоре откланялся, досадуя на себя. Как я мог так откровенно подставиться, не маскируя своих намерений, так опрометчиво увлечься собственной речью, забыв бесценный совет отца насчёт лезвия во рту? Непростительное легкомыслие...

Генерал произнёс слово, которого я избегал и боялся, находя замену другими словами: стечение обстоятельств, временные неудачи, козни недругов. Но теперь это слово было оглашено: зависть. Оно втемяшилось в голову, застряло занозой, и опять, хоть и выпил, я не мог толком уснуть до утра, мучаясь физически, корчась от дурацких видений. Зависть, крошечная, беспросветная тряси́на, через которую невозможно идти, даже пытаюсь растолкать её коленями и раздвинуть ищущими, дрожащими руками. Всё безнадежно. Ты путаешься, застреваешь в ней, выбиваясь из сил, и теряешься, как в покрытом слизью вязком лабиринте, и в какой тупик ты ни уткнёшься, отовсюду из зябкой угрюмой сырости проступает ненавидимый лик. Лик твоего последнего врага. Антонио Сальери. Однако, думаю, это было не зависть, вернее, не она одна. А ещё и чувство несправедливости, прилипшей ко мне с детства. Хотя, может быть, я потому возненавидел их обоих, и Моцарта, и Сальери, что ясно понял тогда: мне до них не дотянуться, — просто их небрежные слова оказались роковым толчком. А зависть, не зависть — уже не важно. Оскорбив святое для меня, мою мечту, мой дар, они сами напросились на месть. Остался один, надо без всяких самокопаний просто довести задуманное до конца — и с плеч долой.

Обжегшись у аристократов, я забрался в замызганный, полутёмный каба́к, где дым коромыслом, где прежде гляди под ноги, а то поскользнёшься на плевке, на обглоданном селедочном хвосту или, уж простите, на чьей-то пьяной отрыжке, — не чешутся тут половые убираться, да и бесполезно. За дрянным вином и прогорклым пивом здесь ищут спасения от ругани сварливых жён, матерей, и от самих себя разного рода неумехи по жизни, изливая, выворачивая наизнанку непонятую душу — или что у них там? — перед первым встречным, лишь бы их выслушали, лишь бы выговориться, оправдаться в чужих глазах. Жалкая публика. Правда, если послушать сих говорливых страдальцев, виноваты в их бедах-неудачах кто угодно, — родные, соседи, начальство, положение планет — только не они сами. Но, надо ж, есть, оказывается, те, на кого тоже можно повесить всех собак за свои злосчастья, есть те, кто хуже даже их, презренных пьянчужек, — некие карбонарии, враги единой Империи, уж мы их, этих карбонариев, всё тут о них скажем, и о них, и вообще!

Опускаться до разговора с этой шантрапой не было резона, я ждал иных посетителей: молодежи, студентов с тощим грошом у кармане, но не знающих укороту, дерзких в суждениях и запальчивых, как порох.

На свободном табурете возле меня оказался, наконец, молодой человек, с пивом, уже подшофе, и, встряхивая, как норовистый конь, длинными космами, чтоб не застили взгляд, посматривал по сторонам, прислушивался к пьяным разглагольствованиям, где опять звучало имя карбонариев.

— Простите, молодой человеку, к слову об итальянской смуте, — сказал я вкрадчиво, — вас интересует музыка? Имя Моцарт вам знакомо?

— Ну, — насупился и нехотя отвечал юноша. Беседовать со мной, старым грибом, ему было неинтересно. — «Фигаро, Фигаро», знаю.

— Вот все тут говорят: карбонарии. Будто карбонарии с Луны к нам свалились. А они ведь давно тут окопались, ещё в музыкальных театрах, да же в Венской опере.

— В смысле? — нахмурился юноша.

— Вы молоды, вы искренни сердцем и не догадываетесь о коварстве. А смысла простой: Моцарт развивал истинно нашу, австрийскую оперу, зингшпиль, — да вы слышали, наверно: такая, знаете ли, с разговорами между музыкальными номерами? Не сомневаюсь, слышали. Все мы слушали и наслаждались. И много преуспел наш умница Моцарт, а этим карбонариям-итальянцам вместе с Сальери — он же им как кость в горле, вот его и сгубили, и весь смысл.

Малость поразмыслив, пьяненький юноша порывисто поднялся с пивной кружкой:

— Все сюда, народ, слушайте! Наш Моцарт придумал нашу оперу, зингшпиль...

— Зингшпиль, — словно из суфлёрской будки, с досадой прошипел я этому невежде, приставив ладони к губам, — зингшпиль...

— Да, вот именно, зингшпиль! Давно ещё. А все эти угольщики, эти итальянцы и их начальник, их Соньери, взяли и сжили нашего Моцарта со свету, кончили по-тихому, и всё, нету больше Моцарта, нету Фигаро.

Молодому дуралею, наверно, было приятно оказаться в центре внимания, пьянь в погребке ещё более возбудилась, до выкриков, а я, ретировавшись, двинул в другой кабак, деньги на дешёвое вино у меня были; заводил разговор об «угольщиках» с теми, кто потрезвее и восприимчивее, кого легче распалить, рассказывал эпизод со словами больного в лечебнице, про Сальери, про Моцарта и яд, — и клялся, что такие странные слова были действительно произнесены, я сам их слышал. Для моих речей я выбирал углы потемнее, в клубах застоялого дыма, сидел в надвинутой на глаза шляпе, а уходил незаметно, под шумок, и всё же как-то на выходе из кабака меня поджидал некий тип, невзрачный, но с нахальными, шустрыми глазами, писака бульварной газетёнки:

— Вы рассказывали некую историю про маэстро Антонио Сальери, я слышал краем уха, и что-то про яд. Можете её повторить, не задаром, разумеется? — И он протянул мне деньги. Наверно, за такие можно было бы купить с потрохами его самого — впрочем, совсем небольшая сумма.

— Уберите, — строго сказал я, — и не смейте даже ссылаться на меня, я не стану ничего заявлять против человека, с которым служил музыке.

— Весьма благородно с вашей стороны, снимаю шляпу, — уныло скривился, забежав глазёнками, газетчик, — но...

— Но, так и быть, помогу вам, ради истины, — приободрил я газетного шелкопёра. — Назову очевидца, он тоже музыкант, по-прежнему служит в Венской опере. Расспросите его насчёт разговора у лечебницы, с больным бедолагой. Выводы, надеюсь, сделаете сами, если, конечно, у вас хватит таланта и чувства долга в эти... ммм... времена смуты, грозящей нашему благословенному отечеству. Думаю, вы меня понимаете.

Скандальная газетёнка выходила малым тиражом, однако расхватаывали её мигом, и кто-то в кабаке, умевший читать, потрясая газетой, читал вслух о маэстро Сальери: «...таился пивайкой в радушном, щедром сердце Вены, плетя против неё подлые козни, травя гениев Австрии, — нашего Моцарта и разных других.» Стиль — брр, низшего пошиба, я сам сумел бы куда лучше, но кабацкой публике было всё очевидно, хмельной народ возбуждался, готовый сейчас же искать и вершить правый суд над злодеем Сальери.

Говорят, были и подмётные, анонимные письма в адрес пугливой администрации Венской оперы, в подобном стиле, мол, «Убрать душегуба Сальери и послушную клику его приспешников!» Но сразу скажу, это не я, хотя мог бы, изменив почерк, запросто, и не догадались бы. Удержался. И без меня нашлись желающие бросить если не камень, то хотя б комок грязи в Антонио Сальери, и поступившие столь низко, непоря-

дочно, были вовсе не разнузданные алкаши, отщепенцы, а неглупые, думающие люди, они наверняка считали, что поступают так из лучших, возвышенных побуждений. И у них был резон — свой взгляд на развитие австрийской музыки.

Попробую объяснить. Не вам, — вряд ли вам это интересно, качаетесь и дела вам ни до чего нет. Себе.

Как знать, может, я оказался орудием Неотвратимого? Кому-то ж надо делать грязную — выражаясь фигурально, — работёнку? Трудно, мучительно, наощупь, из ручейков, из разрозненных противоречивых течений рождалась наша собственная музыка, австрийская, на своей, на немецкой закваске. Сколько бурных споров было о путях её становления, о её будущем, помню эти яростные речи, и гостей у отца, и всякого рода музыкальных критиков. Но вкус, стиль, манеру задавали итальянцы, они неизменно оставались законодателями музыкальной моды, они всегда первенствовали. Если говорить о Сальери совсем бесстрастно, он не делал различия в музыке, итальянской, неитальянской. Он ценил только саму музыку, ей и служил, но одним своим происхождением, одним своим именем, даже своим акцентом он олицетворял итальянское в австрийской музыке, от постановок опер до шуточных куплетов для весёлых праздников. Сальери был и символ, и незыблемый авторитет, глыба. У него хватало идейных противников и в самом понимании музыки, в её трактовке, и в подходе к ней, — многие желали, чтобы Сальери остушился, надломился, хоть раз, а тут вдруг такой подарок, такой пакостный, злобный слушок, его подхватили и смаковали с удовольствием, надували, как бычий пузырь.

Итальянцы-музыканты в австрийской столице были обречены, ещё прежде; в них, в их музыкальных традициях уже не нуждались, и не я, так кто-то другой придумал бы гадость о Сальери или о его близком окружении, да уже и придумывали, без меня. Но курок, думая всего лишь о моей мести, спустил я.

А тогда... тогда маэстро Сальери, то ли по наивности, то ли из-за чрезмерной занятости, то ли оттого, что просто старый дурак, — совершенно не почуял опасности, по-прежнему ковылял, торопился в Венскую оперу, к своим нетерпеливым преданным ученикам; слухи о себе пропускал мимо ушей, считая, наверно, недостойным и глупым реагировать на абсурд, тратить впустую время, — он же выше всего этого, он же святоша! Дуралей... Сам подставился под удар, и кто тогда виноват?

Теперь ему угрожали всякие озлобленные типы, к театру и домой он ходил, оглядываясь, а то и в сопровождении музыкантов, и не зря: кто-то из толпы однажды толкнул его в грудь, — за гибель племянника от рук карбонариев! Кто-то сверху вылили на маэстро чуть ли не помой, с криком: «Это тебе за Моцарта!» Маэстро, отскочив и задрал голову, возмущался срывающимся старческим голосом: «Вы с ума сошли, если верите в такую чушь!»

А я, слушая в кабаке подобные рассказы о травле господина Сальери, сожалею только об одном, — что не видел эти замечательные сценки, хотя живо их себе представляю. Погоди, погоди, Антонио, сумасшедшим станешь у нас именно ты, обещаю. Моя месть и второму гению, пусть даже запоздало, но обретала очертания. Я всё-таки проявил столь ценную отцом волю.

Маэстро Антонио Сальери прожил почти семьдесят пять лет, и в последний год что-то произошло с его головой, подобное случается у стариков; много молясь, он поминал жену и пятерых из восьми детей, которых имел несчастье пережить, звал их, называя по именам, и, глядя вдаль, обрадованно как бы приветствовал движением руки, — но с трудом, едва-едва, узнавал живущих рядом и тех музыкантов, что поддерживали его, как могли. По словам свидетелей, он явно заговаривался, бормотал:

«Если б не я, моя девочка могла бы ещё пожить, хоть год, хоть до весны, а я погубил её, глупец суетливый, совсем забыл о семье... А какие-то люди сказали, я и Моцарта погубил, жизнь его отравил, каждый день его ядом пропитал. Не верю я, не мог я такого, против Бога...»

Вот что стало с великим маэстро, кумиром многих.

Мне ещё надо постараться, чтоб дотянуть до возраста Сальери. Но тоже замечаю уже за собой... э-э... разное. Симптомчики. Что было десятки лет назад, отчётливо помню, порой обострённо, в мельчайших деталях, с нюансами, даже царапинки на моей первой, маленькой скрипке и те помню, все до единой, а вчерашнее — нет, не помню точно, путаюсь.

Вспоминать же о музыке, о настоящей, подлинной, вообще не хочется. Когда я дома, она у нас не звучит. Хотя и дочери умеют, и детей своих научили, и жена не забыла, как клавиши перебирать. Уйду гулять — пожалуйста, а при мне — нет, запретил.

Как-то прибежала младшая внучка, — кудряшки золотые, ясные глазки, бант вообще просто грандиозный, — сущий ангелочек, только озорничать любит. Молча положила мне на колени большую обёрнутую книжку, думал, сказки. Бывает, даже когда задремлю в кресле, тормошит, будит: «Деда, почитай!» Любит, когда я читаю, особенно разными голосами, и очень страшным тоже, да и мне, по правде, приятно, развлечение. Открываю сборник, а там — не сказочные картинки, там, словно мелкие чёрные жучки, будто крохотные, назойливые, мерзкие насекомые, гадя и оставляя чёрные следы, снуют, пачкают, пожирают непорочную разлинованную бумагу, — ноты! Рассердился, накричал. Малышка с рёвом побежала в объятия к матери. Конечно, потом пожалел, был неправ, чего уж там, но просил же, по-человечески всех просил: при мне никакой музыки, даже не напоминать, хватит, сыт по горло всеми этими великими творениями, устал от них.

Да и вообще устал. Если позволяет погода, после погребка отдыхаю на площади, в сквере или на набережной, поневоле слыша пиликанье уличных музыкантов-попрошак и этих злодеев-прохиндеев, шарманщиков, что ежедневно губят музыкальный слух добропорядочных венских жителей и детей. Но теперь топорные звуки не отпугивают меня, и я не бегу прочь дальней стороной от бездарных, примитивных исполнителей. Уже всё равно: их фальшивая, исковерканная, сломанная музыка кажется мне беззащитной, униженной, опрокинутой, а значит не способной ранить меня самого, это успокаивает, и я никуда не спеша, невозмутимо кормлю хлебом голубей.

Когда-то они, дразнясь, пролетали за окном перед мечтательным взглядом мальчика со скрипкой, а теперь, как ручные, слетаются, едва завидев меня, воркуют, толкаясь возле моих ног, или, хлопая крыльями, садятся на скамейку рядом, готовые есть с моей руки, лишь бы получить крошку вне очереди. Шустрые, каналы. А мой мальчик не родился. По разным признакам ожидалось прибавление семейства именно сыном, но оттого ли, что всё мне не терпелось поскорее увидеть наследника нашей гордой, чёрт её возьми, музыкальной династии, он появился на свет слишком, слишком рано, так этот самый свет и не увидев: преждевременные роды или выкидыш, я особо не вникал. Жена, чуть оклемавшись, в слезах просила у меня прощения и уже сразу после случившегося никогда больше не скандалила из-за моих выпивок, считала себя виноватой. Хотя в чём её вина? Береглась, исполняла все предписания доктора, не повезло. Я, конечно, выдерживал немое лицо, все не сомневались, что убит горем. Но в душе я был — как бы это сказать? — умиротворён, да, пожалуй, это верное слово, — даже тихо, чуть-чуть, порадовался за моего нерождённого мальчика. Что-то у него там произошло с пуповиной, не разбираюсь в этом, да и не хочу, умер в утробе, умер, почти не испытал боли, или вообще не поняв, что это такое — подлинное страдание, быстро, в считанные мгновения, — это мать за него

помучилась, едва не умерла, а он нет, он не маялся. Но жалели не её, а меня. И, пожалуй, малыш перехитрил всех, избавясь от боли настоящей, будущей, ежедневной, — от той, какую исхлестала, извела меня музыка, желанная и столь же недостижимая, как все тщетные, бесплодные, пустые мечты. А значит, нерождение наследника было счастьем для него, и эта мысль утешает.

Ну а моя жизнь прожита и, мне даже кажется, давно.

Часто вдруг костенеет в груди, и стараюсь делать всё размеренно, осторожно, чтобы нечаянным, эмоциональным, резким движением, жестом, вскриком не расплескать остаток времени, отведённого мне напоследок. То и дело узнаю: очередной знакомый ровесник, а то и помоложе, приказал долго жить. Но даже если это кто-то из людей, весьма мне не приятных, уже не испытываю, как прежде, тихого, снисходительного торжества: дескать, они-то уже всё, а я ещё живу, — и поживу! Нет. Весточку они мне шлют: и мой черёд не за горами, не спрячешься. Покойники, а тоже укусить умеют...

Недавно хоронил сестру, дело хлопотное, ну а если со всеми приличиями, то и довольно накладное. Поневоле прошёлся по безмолвному кладбищу. Сколько могил заросло бурьяном, трава пробивается даже сквозь камни, сколько стёрлось надписей на табличках, сколько вообще потерялось этих самых табличек или украдено с крестов, кованных из витого железа, не счесть. Сказывают, вдовушка Моцарта, вышедшая снова замуж, так и вообще не смогла найти могилу Вольфи. Правда, если верить тем же слухам, прибыла она на погост почтить память своего славного и некогда возлюбленного супруга спустя аж, — трудно помыслить! — аж спустя восемнадцать лет! Спихватилась... И сынок, похоже, тоже не особо торопился вспомнить о папёнке.

Впрочем... есть у меня одна мыслишка: возможно, не обошлось без братцев-масонов. Они ведь, сказывают, большие любители знатные черепа собирать, для своих затей-ритуалов. А потом так следы заметут, и камушка не оставят, умеют хвосты зачищать. Может, зная это, почти два десятка лет вдовушка не появлялась на погосте и не нашла могилу Вольфганга, — или совсем не искала, раз могилы там заведомо нет.

Надеюсь, меня-то мои близкие не забудут так скоро.

Увидел совсем рядом, в сторонке, свежую яму с отвалами красноватой земли по краям, вот и ещё намёк. *Sic transit gloria mundi*. Хотя... какая уж у меня земная слава? Может, мои редкие ноты и всплывут у букинистов, но кому они интересны? *Gloria mundi* — это Моцарту, и всё ему спишется: и неверности, и магдалены, и непотребства, и хохмы похабные на четвереньках, всё, — как с гуся вода. Гений! Мораль великих общей мерою не меряют, деянья их — им верный адвокат, всем это известно. И останется только его музыка, музыка Амадея. Ускользнул от меня Вольфи, выскользнул, как угорь.

Но с Антонио Сальери — другой расклад. Да, он сочинил бездну музыки, и ещё какой, вдохновившей современников, он почитаем и знаменитыми музыкантами мира, и уличной толпой, и не по знакомству, не по протекции, а потому что его творениями восхищались всюду; он научил магии звуков других, многих и многих, и даже тех, кто потом превзошёл его в известности и славе. И это всё он, Антонио Сальери, и по делам воздастся ему, и быть ему на небесах, а мне — да что про меня говорить... Ах, Сальери, Сальери, простофиля Сальери, он думал, безгрешность — его броня.

Пусть он гений, на зависть другим. Однако я знаю наверняка: он позавидовал бы мне, моей серой безвестности, моему ничто... Потому что его имя на земле окажется в вечном аду.

Я сумел-таки его уязвить, удалось. Говорят, слухи его вконец доби-ли и даже перед смертью Сальери вспомнил об этих слухах, твердил и

священнику, и детям и всем, что пред вратами вечности он не солжёт никому, ни людям, ни тем паче Всевышнему. Да, говорил он, соперничество было, как и у всех творческих людей, творцов, но не более того, он набожный христианин, не желал смерти ни Моцарту, ни кому другому, ни сном, ни духом, и даже не может предположить, откуда взялся этот дурацкий, омерзительный, подлейший слух, — если Моцарт вообще умер не своей смертью. Как вам, а? Сальери, который изголялся над моими твореньями, кромсая их, этот самоуверенный Сальери перед кончиной бубнил какие-то оправдания, боясь больше не предсмертной своей корчи, а неясных слухов потом. Значит, я его всё-таки уязвил, одолел, взял верх над ним, пусть и не в музыке. Моя партитура не только сочинена, но и сыграна, от и до.

Это я выплеснул на него ложь, как выплеснула мне под ноги помой-тётка на той замызганной улице; я посыпал его голову перьями из подушки, на которой я плакал, глядя во мрак отчаянья тогда, после позора; но теперь именно по моей воле призрак Сальери шарахается по тёмным закоулкам благодарной людской памяти, болтается жалким изгоем. Я, незаметный, пусть даже ничтожный, это я опрокинул великого Антонио, я, ваш покорный непокорный слуга.

Древний Рим вытоптал землю Карфагена, а я вытравил не только цветы, но даже траву вокруг имени Сальери. Ничто не напомним о нём. Если ж вдруг, по недоразумению, появится на театральной афише его имя, — найдётся кто-нибудь, кто услышав мои настойчивые, вкрадчивые шёпоты, зачеркнёт его, надписав: «Душегубец, отравитель!» И никто не спросит в книжном магазине ноты Антонио Сальери, из брезгливости просто взять их в руки, словно покрытую струпами и гнойными шанкрами ядовитую жабу.

И знаете, кто будет стоять в одном ряду и сразу после Иуды? Нет, не Каин: ну кто он? — так, дремучая древность. И не Калигула, не Нерон и прочие венценосные отравители, не они одни устраняли врагов, подсылая убийц с кинжалами или отравой, это ж было в мрачных обычаях жестоких эпох. Но в эпоху просвещённую, в эпоху изысканных манер и пиетета, среди творцов высокой гармонии, среди гениев, на вершине, на Олимпе духа, — и вдруг в ходу пошлейший, вульгарный яд, и раз, и нету блистательного соперника, нету, словно ничтожного хвостатого грызуна, — такое, согласитесь, гнуснее подлого, подлее гнусного. И этим отребьем, отщепенцем, — моими тихими, подспудными стараниями, моей высочайшей волей, — я объявил кристального нашего господина Сальери.

В моей дуэли и Антонио, и Вольфи сыграли оба отведённые им роли. Ведь поединку нужен секундант, я возле дуэлянтов-гениев по праву оказался третьим, и вместе с тем над схваткою, как мудрый триумфатор. Вы слышите: я не какой-то там, я — Третий!

И Третий гений вострубил! И с последних страниц моей великой партитуры прозвучали не литавры, нет-нет, это было б слишком банально, — а одинокое дребезжание мелкой монеты, брошенной на пивную стойку и дрожащей, как истомлённая железная бабочка. Той самой монетки, которую скучающий наш Господь, — развлекаясь, забавляясь, играючи — назначал таланты, и достойным, и всем кому ни попадя, хоть ты и мальчик на побегушках из мелкой лавки. И финита!

А я... Чёрные дыры на погосте меня уже не пугают, отбоялся. Но прежде, чем терпеливые ангелы смахнут меня, как осеннюю листву, в чёрную воронку, в тихую компанию к навечным молчунам, я воскликну: погодите, надо всё-таки сказать кой-что в оправдание, имею право на последнее слово.

Я применил Моцарта как таран, и репутация Сальери — в дрызг, но осколочки-то, господа, в дело пошла, на постамент для Вольфи. Одного в грязь опрокинул, закопал, зато ведь другого ещё выше поднял, разве

не так? Образ невинно убиенного — он же на святыню тянет, во все и на все времена. Так что, считайте, это я вознёс над головой нашего Вольфи Моцарта сияющий нимб, жертвенных агнцев все почитают. Можете мне поаплодировать.

Но если бы Сальери умер первым, назначил бы я Моцарта в убийцы, уж Моцарт у меня б не отвертелся и был бы всеми нами презираем, — поверьте на слово, я б очень постарался. Однако вышло всё, как вышло.

Послушайте, а я ведь говорю почти стихом, сумел бы и либретто написать, и пьесу, как жажда мщения таланты раскрывает!

Иногда я думаю, — или так мне кажется от обильного вина, — а может, я был рождён вовсе не для музыки, а для чего-то другого, и выбился из сил, двигаясь к ложной, к не-моей цели? Ужасная мысль, страшная, кощунственная, святотатственная!

Когда приходят такие невозможные, убийственные мысли, я всё же нахожу в себе мужество и, словно разбинтовывая уже замолкшую было рану, словно отрывая с кровью прикипевшую к ней повязку, достаю из шкафа, из самого дальнего ящика, особенные ноты. И играю: одну полюбившуюся пьесу Сальери, тайну очарования которой я так и не сумел разобрать, разгадать; залитые вином ноты Моцарта, те самые, переписанные мною; мои сочинения тоже исполняю, обязательно, — и исправленные за чашечкой кофе господином Сальери, и моё последнее, дерзкое, которое маэстро признал как подлинную музыку и не внёс ни единой поправки. Играю до изнеможения, немыми, каменными пальцами, и многое вспоминается, возвращается, и чувствую, как в моих глазах дрожат слёзы... Старики слезливы. То, что в молодости вызывает снисходительную иронию, в старости отзывается слезами, просто вытягивает их изнутри, и ничего тут не поделаешь, старость, старость, чтоб её...

Вот примерно как было...

Я должен был выговориться, хоть с кем-то поделиться, не с кошкой ведь. И теперь мне легче, вы идеальный слушатель. Возможно, что-то я проговаривал внутри себя, только в мыслях, молча и бегло, однако и вслух наговаривал предостаточно. Но так, на всякий случай: всё мною сказанное — только между нами. Даже если что-то и отложилось в вашей бедровой головушке — никому. Да и кто ж поверит постояльцу сего славного заведения? Это ж надо быть сумасшедшим, чтоб поверить. И не забудьте, ваш лечащий врач — мой давний знакомый, не рассердите его нечаянно.

Сейчас я удалюсь, да и смеркается уже, и мы с вами, надеюсь, больше никогда не увидимся. Вы качайтесь, качайтесь! Счастливый вы человек, хоть сами и не понимаете. Завидую, поверьте, правда...

ПОСТСКРИПТУМ

У Антонио Сальери (1750-1825), сына заурядного и не очень удачливого торговца, было мало шансов стать даже не известным, а хотя бы обыкновенным, обычным музыкантом. Однако вышло иначе: сверхталантливый, сверходарённый от природы, увлечённый до фанатизма своим призванием, он стал великим. Его сочинения производили фурор, их ждали и исполняли в лучших концертных залах планеты, Сальери обогатил высокую музыку новыми находками и открытиями.

Его неуёмного дарования с лихвой хватило бы, чтобы умножать и умножать собственное величие, к чему всячески стремятся яркие индивидуальности с Олимпа искусств. Но Сальери оказался вовсе не скупым рыцарем: самым ценным, что у него было, уникальным талантом, он щедро делился с другими, ещё неопытными или даже начинающими композиторами, и особенно с теми, в ком видел искру божью, не задумываясь, — хотя наверняка понимая, — что в будущем они способны превзойти его славу. Эти щедрые дары не прошли бесследно для миро-

вой культуры: и в музыкальных громадах Бетховена (1770-1827), и в меланхолической взволнованности Шуберта (1797-1828), и в импульсивной энергии Листа (1811-1886) ощущались направляющая рука и бесценные подсказки скромного и неистового Антонио Сальери.

(Полистаем энциклопедии: непременно, рядом с именами названных великих композиторов будет, пусть даже коротко, упомянут и их творческий наставник, педагог по композиции и контрапункту, их вдохновляющий учитель — А. Сальери). Это к слову о его роли, гигантской роли!

И как тогда сравнить, чей вклад в мировую музыку был значительнее: Моцарта, Сальери или кого-то другого?

Общепризнанно: «Свадьба Фигаро», написанная тридцатилетним Моцартом, гениальна. Но возможно, вам, и не без основания, покажется ещё гениальнее сочинённая 24-летним Джоакино Россини опера «Севильский цирюльник» с бесподобной, неопишуемой словами увертюрой, которой человечество будет всегда восхищаться, если останется способным на чувства.

А может быть, многие оперные жемчужины Моцарта уступят одному единственному сокровищу, небесному творению — «Casta diva» Винченцо Беллини, прожившего всего-то неполных 34 года? Кто величественнее: геометрически выверенный, неутомимый в поисках расчётливой гармонии Йоганн Бах (1685-1750) или стихийный, как широкий бурлящий поток, Джироламо Фрескобальди (1583-1643)?

Или гений гениев — Антонио Вивальди (1678-1741), чьё несравненное, невозможное «Лето» ураганом солнечного ливня освежает, обновляет к жизни наши сердца уже почти три столетия, и в прежних, и в нынешних поколениях, и не померкнет никогда, покуда жива страсть?

Однако не наивно ли считать самой великой самую высокую гору? Разве не с разных вершин мы открываем внезапные горизонты и захватывающие дух удивительные созвездия? А какая музыка ценнее? Лёгкая, фривольная, игривая, беспечная, весёлая, зовущая к радостям жизни? Или аскетически строгая, суровая и трагически скорбная? Или празднично торжественная, парадная, маршевая, под которую во имя своих идеалов уходят с гордо поднятой головой в последний бой? Или бушующая мятежными страстями? Нет ответа. Наверно, каждый в разных обстоятельствах предпочтёт разное. И в ином нет единства у меломанов: одни впадают в экстаз, в транс от бесконечной импровизации, другим царь и бог — мелодия, и ничто больше.

Говорят ещё, лучший судья — время. Верно лишь отчасти: время, — порой стремительно, — меняет, задавая новые ритмы, и нас самих, наши вкусы, у каждого времени своя музыка. Может быть, некоторые, прежде величавые имена потихоньку забудутся, а имена, вроде бы и забытые давно и навсегда, поднимутся из глубин, даже из небытия и зазвучат заново, современно, как откровение, — всё возможно в мире искусств и предпочтений. Тогда справедлив вопрос: а кто вообще имеет право взять на себя это право — выносить безапелляционные вердикты гениям прошлого?

Как бы там ни было, надо ещё очень, очень постараться, чтоб найти современных композиторов, чьё имя было бы так же славно в мире музыки, как в 18 веке гремело в концертных залах имя Антонио Сальери. Бесспорно одно: маэстро Сальери был и остался гением.

Кстати, если взглянуть из нашей эпохи в ту, давнюю, поразишься, сколь были плодотворны и как рано проявляли себя творцы музыки. К примеру, оперу «Дон Санчо, или Замок любви» поставили в Париже (в 1825 г), когда её автору Ференцу Листу (ученику Сальери) было неполных 14(!) лет. И подобные всплески юных, но уже признанных, музыкальных дарований не являлись чем-то исключительным, единичным, уникальным, отнюдь нет. Как это объяснить? Ведь не было электрического света в комнатах, чтобы зажечь или погасить его небрежным нажатием на кнопку выключателя, а были лишь свечи да огниво; не было телефона,

чтоб обговорить детали, назначить или перенести встречу, а извольте от-
править с сообщением курьера, нарочного; не было электронной почты,
не было почти мгновенной компьютерной правки, а надо было макать
гусиное перо в чернильницу и потом лишь, со всем тщанием писать,
опасаясь уронить роковую, неосторожную кляксу, да и писчая бумага
была довольно дорогой; не было множества теперешних приспособ, об-
легчающих быт и многократно ускоряющих рутинные действия, не было
неисчислимых удобств современного мира, освобождающих человека
для творчества, зато уйма времени требовалась ещё и на исполнение
различных официальных формальностей, социальных ритуалов. И были
лишь всё те же беспощадно сжатые двадцать четыре часа в сутках. Так
как же это у Них получалось? Это первый вопрос. И вопрос второй: а
действительно ли мы, современные люди, эволюционируем — или
всё-таки духовно деградируем, по крайней мере, в некоторых, весьма
значимых, областях искусства? Неудобные вопросы, неуютно от них.

Однако вернёмся во времена Сальери и Моцарта. Нередко (так было
и прежде, и часто случается нынче) быстротечный, а значит, и вроде бы
неожиданный уход из жизни прославленного, у всех на слуху, но ещё
не пожилого человека вызывает вопросы и пересуды, -кривотолки. Де-
скать, говорить-то могут всякое, но, видать, мешал кому-то сильно, вот
и убрали, и шито-крыто, и не с кого спросить. После кончины Вольф-
ганга Моцарта, которую современные ему доктора объяснили цепочкой
различных заболеваний великого музыканта, родилось и множество
подспудных слухов и версий. Целая группа из этого множества — слухи
об отравлении, и как частный случай — смутный намёк на причастность
к гипотетическому преступлению другого гения, австрийского итальян-
ца Антонио Сальери. Почти скабрёзность, зато пошущукаться, посма-
ковать такую, помуссировать — разве не волнительное удовольствие,
безнаказанное и возбуждающее?

До самого Сальери доносились подобные оскорбительные, абсурд-
ные намёки, терзая, кусая его исподтишка даже в глубокой старости,
он реагировал на них с усталым возмущением: абсурд, ну дикость же!
Для него, глубоко и истово, ревностно верующего человека христиан-
ские заповеди и исповедь — неукоснительны, святое, он и помыслить
бы не мог о столь богомерзком деянии, не то что совершить, — спаси,
сохрани! — да и любой нормальный человек не сподобится на такое. И
Санитары больницы, где умирал Сальери, категорически, под присягой,
перед распятием отрицали эпизод якобы некоего откровения и призна-
ния Сальери в каком-то отравлении или преступлении. Врач клятвенно
подтвердил: никогда не слышали таких слов от Сальери, совершенно
точно, даже когда больной бредил в горячке. А вот подлейшие, гнусные
слухи о маэстро и в самом деле — настоящий бред!

Но кто выдумывал, кто старательно распространял клеветнические
измышления о причастности великого Сальери к смерти великого Мо-
царта — установить так и не удалось...